

# Лавр

**Автор:**

Евгений Водолазкин

Лавр

Евгений Германович Водолазкин

Евгений Водолазкин – филолог, специалист по древнерусской литературе, автор романа «Соловьев и Ларионов», сборника эссе «Инструмент языка» и других книг.

Герой нового романа «Лавр» – средневековый врач. Обладая даром исцеления, он тем не менее не может спасти свою возлюбленную и принимает решение пройти земной путь вместо нее. Так жизнь превращается в житие. Он выхаживает чумных и раненых, убогих и немощных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его дар. Но возможно ли любовью и жертвой спасти душу человека, не сумев уберечь ее земной оболочки?

В формате pdf.a4 сохранен издательский макет.

Евгений Водолазкин

Лавр

Татьяне

Пролегомена

В разное время у него было четыре имени. В этом можно усматривать преимущество, поскольку жизнь человека неоднородна. Порой случается, что ее части имеют между собой мало общего. Настолько мало, что может показаться, будто прожиты они разными людьми. В таких случаях нельзя не испытывать удивления, что все эти люди носят одно имя.

У него было также два прозвища. Одно из них – Рукинец – отсылало к Рукиной слободке, месту, где он появился на свет. Но большинству этот человек был известен под прозвищем Врач, потому что для современников прежде всего он был врачом. Был, нужно думать, чем-то большим, чем врач, ибо то, что он совершал, выходило за пределы врачебных возможностей.

Предполагают, что слово врач происходит от слова врати – заговаривать. Такое родство подразумевает, что в процессе лечения существенную роль играло слово. Слово как таковое – что бы оно ни означало. Ввиду ограниченного набора медикаментов роль слова в Средневековье была значительнее, чем сейчас. И говорить приходилось довольно много.

Говорили врачи. Им были известны кое-какие средства против недугов, но они не упускали возможности обратиться к болезни напрямую. Произнося ритмичные, внешне лишённые смысла фразы, они заговаривали болезнь, убеждая ее покинуть тело пациента. Грань между врачом и знахарем была в ту эпоху относительной.

Говорили больные. За отсутствием диагностической техники им приходилось подробно описывать все, что происходило в их страдающих телах. Иногда им казалось, что вместе с тягучими, пропитанными болью словами мало-помалу из них выходила болезнь. Только врачам они могли рассказать о болезни во всех подробностях, и от этого им становилось легче.

Говорили родственники больных. Они уточняли показания близких или даже вносили в них поправки, потому что не все болезни позволяли страдальцам дать о пережитом достоверный отчет. Родственники могли открыто выразить опасение, что болезнь неизлечима, и (Средневековье не было временем сентиментальным) пожаловаться на то, как трудно иметь дело с больным. От этого им тоже становилось легче.

Особенность человека, о котором идет речь, состояла в том, что он говорил очень мало. Он помнил слова Арсения Великого: много раз я сожалел о словах, которые произносили уста мои, но о молчании я не жалел никогда. Чаще всего он безмолвно смотрел на больного. Мог сказать лишь: тело твое тебе еще послужит. Или: тело твое пришло в негодность, готовься его оставить; знай, что оболочка сия несовершенна.

Слава его была велика. Она заполняла весь обитаемый мир, и он нигде не мог от нее укрыться. Его появление собирало множество народа. Он обводил присутствующих внимательным взглядом, и его безмолвие передавалось собравшимся. Толпа замирала на месте. Вместо слов из сотен открытых ртов вырывались лишь облачка пара. Он смотрел, как они таяли в морозном воздухе. И был слышен хруст январского снега под его ногами. Или шуршание сентябрьской листвы. Все ждали чуда, и по лицам стоявших катился пот ожидания. Соленые капли гулко падали на землю. Расступаясь, толпа пропускала его к тому, ради кого он пришел.

Он клал руку на лоб больного. Или касался ею раны. Многие верили, что прикосновение его руки исцеляет. Прозвище Рукинец, полученное им по месту рождения, получало таким образом дополнительное обоснование. От года к году его врачебное искусство совершенствовалось и в зените жизни достигло высот, недоступных, казалось, человеку.

Говорили, что он обладал эликсиром бессмертия. Время от времени высказывается даже мысль, что даровавший исцеления не мог умереть, как все прочие. Такое мнение основано на том, что тело его после смерти не имело следов тления. Лежа много дней под открытым небом, оно сохраняло свой прежний вид. А потом исчезло, будто его обладатель устал лежать. Встал и ушел. Думающие так забывают, однако, что от сотворения мира только два человека покинули землю телесно. На обличие Антихриста был взят Господом Енох, и в огненной колеснице вознесся на небо Илия. О русском враче предание не упоминает.

Судя по его немногочисленным высказываниям, он не собирался пребывать в теле вечно – потому хотя бы, что занимался им всю жизнь. Да и эликсира бессмертия у него, скорее всего, не было. Подобного рода вещи как-то не соответствуют тому, что мы о нем знаем. Иными словами, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время его с нами нет. Стоит при этом оговориться, что сам он не всегда понимал, какое время следует считать настоящим.

## Книга Познания

Он появился на свет в Рукиной слободке при Кириллове монастыре. Это произошло 8 мая 6948 года от Сотворения мира, 1440-го от Рождества Спасителя нашего Иисуса Христа, в день памяти Арсения Великого. Семь дней спустя во имя Арсения он был крещен. Эти семь дней его мать не ела мяса, чтобы подготовить новорожденного к первому причастию. До сорокового дня после родов она не ходила в церковь и ожидала очищения своей плоти. Когда плоть ее очистилась, она пошла на раннюю службу. Пав ниц в притворе, лежала несколько часов и просила для своего младенца лишь одного: жизни. Арсений был третьим ее ребенком. Родившиеся ранее не пережили первого года.

Арсений пережил. 8 мая 1441 года в Кирилло-Белозерском монастыре семья отслужила благодарственный молебен. Приложившись после молебна к мощам преподобного Кирилла, Арсений с родителями отправились домой, а Христофор, его дед, остался в монастыре. На следующий день завершался седьмой десяток его лет, и он решил спросить у старца Никандра, как ему быть дальше.

В принципе, ответил старец, мне нечего тебе сказать. Разве что: живи, друже, поближе к кладбищу. Ты такой дылда, что нести тебя туда будет тяжело. И вообще: живи один.

Так сказал старец Никандр.

И Христофор переместился к одному из окрестных кладбищ. В отдалении от Рукиной слободки, у самой кладбищенской ограды он нашел пустую избу. Ее хозяева не пережили последнего мора. Это были годы, когда домов стало больше, чем людей. В крепкую, просторную, но выморочную избу никто не решался вселиться. Тем более – возле кладбища, полного чумных покойников. А Христофор решился.

Говорили, что уже тогда он вполне отчетливо представлял себе дальнейшую судьбу этого места. Что якобы уже в то отдаленное время знал о постройке на месте его избы кладбищенской церкви в 1495 году. Церковь была сооружена в благодарность за благополучный исход 1492 года, семитысячного от Сотворения мира. И хотя ожидавшегося конца света в том году не произошло, тезка Христофора неожиданно для себя и других открыл Америку (тогда на это не обратили внимания).

В 1609 году церковь разрушена поляками. Кладбище приходит в запустение, и на его месте вырастает сосновый лес. Со сборщиками грибов время от времени заговаривают привидения. В 1817 году для производства досок лес приобретает купец Козлов. Через два года на освободившемся месте строят больницу для бедных. Спустя ровно сто лет в здание больницы въезжает уездная ЧК. В соответствии с первоначальным предназначением территории ведомство организует на ней массовые захоронения. В 1942 году немецкий пилот Хайнрих фон Айнзидель метким попаданием стирает здание с лица земли. В 1947 году участок переоборудуется под военный полигон и передается 7-й Краснознаменной танковой бригаде им. К. Е. Ворошилова. С 1991 года земля принадлежит садоводству «Белые ночи». Вместе с картофелем члены садоводства выкапывают большое количество костей и снарядов, но жаловаться в волостную управу не торопятся. Они знают, что другой земли им все равно никто не предоставит.

Уж на такой земле нам выпало жить, говорят.

Подробное это предвидение указывало Христофору, что на его веку земля останется нетронутой, а избранный им дом пятьдесят четыре года пребудет в целости. Христофор понимал, что для страны с бурной историей пятьдесят четыре года – немало.

Это был дом-пятистенник: помимо четырех внешних стен в срубе имелась пятая внутренняя стена. Перегораживая сруб, она образовывала две комнаты – теплую (с печью) и холодную.

Въехав в дом, Христофор проверил, нет ли в нем щелей между бревнами, и заново затянул окна бычьим пузырем. Взял масличных бобов и можжевеловых ягод, смешал с можжевеловой щепой и ладаном. Добавил дубовых листьев и листьев руты. Мелко истолок, положил на уголья и в течение дня занимался прокуриванием.

Христофор знал, что со временем моровое поветрие и само выходит из изб, но эту меру предосторожности не счел лишней. Он боялся за родных, которые могли его навещать. Он боялся и за всех тех, кого лечил, потому что они бывали у него постоянно. Христофор был травником, и к нему приходили разные люди.

Приходили мучимые кашлем. Он давал им толченой пшеницы с ячменной мукой, смешав их с медом. Иногда – вареной полбы, поскольку полба вытягивает из легких влагу. В зависимости от вида кашля мог дать горохового супа или воды из-под вареной репы. Кашель Христофор различал по звуку. Если кашель был размытым и не определялся, Христофор прижимал ухо к груди больного и долго слушал его дыхание.

Приходили сводить бородавки. Таковым Христофор велел прикладывать к бородавкам толченый лук с солью. Или мазать их воробьиным пометом, растертым со слюной. Однако же лучшим средством ему казались толченые семена васильков, которыми бородавки следовало присыпать. Васильковые семена вытягивали из бородавок корень, и на том месте они уже больше не росли.

Помогал Христофор и в делах постельных. Пришедших по этому поводу определял сразу – по тому, как входили и мялись на пороге. Трагический и виноватый их взгляд смешил Христофора, но он не подавал виду. Без долгих предисловий травник призывал гостей снимать штаны, и гости беззвучно повиновались. Иногда отправлял их помыться в соседнее помещение, особое внимание предлагая обратить на крайнюю плоть. Он был убежден, что правил личной гигиены следует придерживаться и в Средневековье. С раздражением слушал, как вода из ковша прерывисто льется в деревянную кадку.

Что убо о сем речеши, записывал он в сердцах на куске бересты. И как это женщины таких к себе подпускают? Кошмар.

Если тайный уд не имел очевидных повреждений, Христофор расспрашивал о проблеме в подробностях. Рассказывать ему не боялись, потому что знали – он не болтлив. При отсутствии эрекции Христофор предлагал добавлять в пищу дорогие анис и миндаль или дешевый сироп из мяты, которые умножают семя и движут постельные помыслы. То же действие приписывалось траве с необычным названием воронье сало, а также простой пшенице. Существовала, наконец, лас-трава, имевшая два корня – белый и черный. От белого эрекция возникала, а от

черного пропадала. Недостаток средства состоял в том, что белый корень в ответственный момент следовало держать во рту. На это готовы были пойти не все.

Если все это не умножало семени и не двигало постельных помыслов, травник переходил от растительного мира к животному. Лишившимся потенции рекомендовалось есть утку или почки петуха. В критических случаях Христофор распорядился достать яйца лиса, растолочь их в ступе и пить с вином. Тем, кому такая задача была не по плечу, предлагал есть обычные куриные яйца вприкуску с луком и репой.

Христофор не то чтобы верил в травы, скорее он верил в то, что через всякую траву идет помощь Божья на определенное дело. Так же, как идет эта помощь и через людей. И те, и другие суть лишь инструменты. О том, почему с каждой из знакомых ему трав связаны строго определенные качества, он не задумывался, считая это вопросом праздным. Христофор понимал, кем эта связь установлена, и ему было достаточно о ней знать.

Помощь Христофора ближним не ограничивалось медициной. Он был убежден, что таинственное влияние трав распространяется на все области человеческой жизни. Христофору было известно, что трава осот с корнем светлым, как воск, приносит удачу. Ее он давал торговым людям, чтоб, куда бы они ни шли, принимаемы были с честью и вознеслись бы великою славой.

Токмо не гордитесь паче меры, предупреждал их Христофор. Гордыня бо есть корень всем грехом.

Траву осот он давал лишь тем, в ком был абсолютно уверен.

Больше всего Христофор любил красную, высотой с иголку траву царевы очи. Он всегда держал ее у себя. Знал, что, начиная всякое дело, хорошо иметь ее за пазухой. Брать, например, на суд, дабы не быти осужденну. Или сидеть с ней на пиру, не боясь еретика, подстерегающего всякого расслабившегося.

Еретиков Христофор не любил. Он выявлял их посредством адамовой главы. Собирая эту траву у болот, осенял себя крестным знаменем со словами: помилуй мя, Боже. Затем, дав траву освятить, Христофор просил священника положить ее на алтарь и держать там сорок дней. Нося ее по истечении сорока

дней с собой, даже в толпе он мог безошибочно угадать еретика или беса.

Ревнивым супругам Христофор рекомендовал ряску – не ту ряску, что затягивает болота, а синюю, стелющуюся по земле траву. Класть ее полагается в головах у жены: заснув, она сама все о себе расскажет. Хорошее и плохое. Было еще одно средство заставить ее разговориться – свиное сердце. Его следовало приложить к сердцу спящей жены. Но на этот шаг мало кто шел: было страшно.

Самому Христофору эти средства были без надобности, потому что тридцать лет назад жена его погибла. За сбором трав их застала гроза, и на опушке леса ее убило молнией. Христофор стоял и не верил, что жена мертва, поскольку только что была живой. Он тряс ее за плечи, и ее мокрые волосы струились по его рукам. Он растирал ей щеки. Под его пальцами беззвучно шевелились ее губы. Широко открытые глаза смотрели на верхушки сосен. Он уговаривал жену встать и вернуться домой. Она молчала. И ничто не могло заставить ее говорить.

В день переезда на новое место Христофор взял среднего размера кусок бересты и записал: в конце концов, они уже взрослые люди. В конце концов, их ребенку уже исполнился год. Считаю, что без меня им будет лучше. Подумав, Христофор добавил: а главное, так посоветовал старец.

Когда Арсению исполнилось два года, его стали приводить к Христофору. Иногда, пообедав, уходили вместе с ребенком. Но чаще Арсения оставляли на несколько дней. Ему нравилось бывать у деда. Эти посещения оказались первым воспоминанием Арсения. И они были последним, что ему предстояло забыть.

В дедовой избе Арсений любил запах. Он состоял из ароматов множества трав, сушившихся под потолком, и такого запаха не было больше нигде. Он любил также павлиньи перья, привезенные Христофору одним из паломников и прикрепленные к стене в виде веера. Узор павлиньих перьев удивительно напоминал глаза. Находясь у Христофора, мальчик чувствовал себя некоторым образом под наблюдением.



Еще ему нравилась икона святого мученика Христофора, висевшая под образом Спасителя. В ряду строгих русских икон она смотрелась необычно: святой Христофор был песьеголовцем. Дитя часами рассматривало икону, и сквозь трогательный облик кинокефала мало-помалу проступали черты деда. Лохматые брови. Пролегшие от носа складки. От глаз растущая борода. Проводя большую часть времени в лесу, дед все охотнее растворялся в природе. Он становился похожим на собак и на медведей. На травы и на пни. И говорил скрипучим древесным голосом.

Иногда Христофор снимал икону со стены и давал поцеловать Арсению. Ребенок задумчиво целовал святого Христофора в мохнатую голову и касался потускневших красок подушечками пальцев. Дед Христофор наблюдал, как таинственные токи иконы перетекают в руки Арсения. Однажды он сделал следующую запись: у ребенка какая-то особая сосредоточенность. Его будущее представляется мне выдающимся, но я просматриваю его с трудом.

С четырех лет Христофор стал учить мальчика травному делу. С утра до вечера они бродили по лесам и собирали разные травы. При оврагах искали траву стародубку. Христофор показывал Арсению ее острые маленькие листья. Стародубка помогала при грыже и жаре. При жаре эту траву давали с гвоздикой, и тогда с больного ручьями начинал катиться пот. Если пот был густым и издавал тяжелый запах, надлежало (посмотрев на Арсения, Христофор осекся) готовиться к смерти. От недетского взгляда ребенка Христофору стало не по себе.

Что такое смерть, спросил Арсений.

Смерть – это когда не двигаются и молчат.

Вот так? Арсений растянулся на мхе и не мигая смотрел на Христофора.

Поднимая мальчика, Христофор сказал в себе: моя жена, его бабушка, тоже тогда так лежала, и потому сейчас я очень испугался.

Не надо бояться, закричал мальчик, потому что я опять живой.

В одну из прогулок Арсений спросил Христофора, где его бабушка пребывает сейчас.

На небе, ответил Христофор.

В тот день Арсений решил долететь до неба. Небо давно его привлекало, и сообщение о пребывании там не виденной им бабушки сделало влечение преодолимим. В этом ему могли помочь только перья павлина – птицы безусловно райской.

По возвращении домой Арсений взял в сенях веревку, снял со стены перья павлина и по приставной лестнице забрался на крышу. Разделив перья на две равные части, он крепко привязал их к рукам. В первый раз Арсений не собирался на небо надолго. Он хотел лишь вдохнуть его лазурный воздух и, если получится, наконец увидеть бабушку. Заодно, возможно, передать ей привет от Христофора. По представлениям Арсения, он вполне мог вернуться до ужина, который как раз готовил Христофор. Арсений подошел к коньку, взмахнул крыльями и сделал шаг вперед.

Полет его был стремителен, но недолог. В правой ноге, которая первой коснулась земли, Арсений почувствовал резкую боль. Он не мог встать и молча лежал, втянув ноги под крылья. Поломанные и бьющиеся о землю павлиньи перья заметил Христофор, когда вышел звать мальчика к ужину. Христофор ощупал его ногу и понял, что это перелом. Чтобы кость срослась поскорей, он приложил к поврежденному месту пластырь с толченым горохом. Чтобы нога пребывала в покое, он примотал к ней дощечку. Чтобы крепла не только плоть, но и дух Арсения, он повез его в монастырь.

Знаю, что собираешься на небо, сказал с порога кельи старец Никандр. Но образ действий твой считаю, прости, экзотическим. В свое время я расскажу тебе, как это делается.

Как только Арсений смог ступить на ногу, они вновь занялись сбором трав. Сначала ходили только в окрестном лесу, но с каждым днем, пробуя силы Арсения, уходили все дальше. Вдоль рек и ручьев собирали одолень – красно-желтые цветы с белыми листьями – против отравы. Там же, у рек, находили траву баклан. Христофор учил узнавать ее по желтому цвету, круглым листьям и белому корню. Этой травой лечили лошадей и коров. На опушках собирали траву пострел, растущую только весной. Рвать ее следовало девятого, двадцать второго и двадцать третьего апреля. При постройке избы пострел клали под первое бревно. А еще ходили за травой савой. Здесь Христофор проявлял

осторожность, потому что встреча с ней грозит смятением ума. Но (он садился перед ребенком на корточки) если эту траву положить на след вора, ворованное вернется. Он клал траву в лукошко и прикрывал лопухом. По пути домой всякий раз собирали стручки травы перенос, отгоняющей змей.

Положи ее семечко в рот – расступится вода, сказал однажды Христофор.

Расступится, серьезно спросил Арсений.

С молитвой – расступится. Христофору стало неловко. Все дело ведь в молитве.

Зачем же тогда это семечко? Мальчик поднял голову и увидел, что Христофор улыбается.

Таково предание. Мое дело тебе сообщить.

Собирая травы, они однажды увидели волка. Волк стоял в нескольких шагах от них и смотрел им в глаза. Его язык свешивался из пасти и подрагивал от частого дыхания. Волку было жарко.

Не будем двигаться, сказал Христофор, и он уйдет. Великомучениче Георгие, помози.

Он не уйдет, возразил Арсений. Он же пришел, чтобы быть с нами.

Мальчик подошел к волку и взял его за загривок. Волк сел. Из-под задних лап торчал конец его хвоста. Христофор прислонился к сосне и внимательно смотрел на Арсения. Когда они двинулись в сторону дома, волк пошел за ними. Красным флажком все так же свешивался его язык. У границы деревни волк остановился.

С тех пор они часто встречали волка в лесу. Когда они обедали, волк садился рядом. Христофор бросал ему куски хлеба, и волк, клацая зубами, ловил их на лету. Растягивался на траве и задумчиво смотрел перед собой. Когда дед и внук возвращались, волк провожал их до самого дома. Иногда ночевал во дворе, и утром они втроем отправлялись на поиски трав.

Когда Арсений уставал, Христофор сажал его в холщовую сумку за спиной. Через мгновение он чувствовал его щеку на своей шее и понимал, что мальчик спит. Христофор тихо ступал по теплому летнему мху. Свободной от корзины рукой он поправлял на плече ляжки и отгонял от спящего мальчика мух.

Дома Христофор доставал из длинных волос Арсения репы, иногда мыл ему голову щелоком. Щелок он делал из кленового листа и белой травы Енох, которую они вместе собирали на возвышенностях. От щелока золотые волосы Арсения становились мягкими, как шелк. В солнечных лучах они светились. В них Христофор вплетал листочки дягиля – чтобы люди любили. При этом он замечал, что Арсения люди любили и так.

Появление ребенка поднимало настроение. Это чувствовали все жители Рукиной слободки. Когда они брали Арсения за руку, ее не хотелось отпускать. Когда целовали его в волосы, им казалось, что они припадали к роднику. Было в Арсении что-то такое, что облегчало их непростую жизнь. И они были ему благодарны.

На ночь Христофор рассказывал ребенку о Соломоне и Китоврасе. Эту историю оба знали наизусть и всегда воспринимали ее как в первый раз.

Когда Китовраса вели к Соломону, он увидел человека, покупавшего себе сапоги. Человек захотел узнать, хватит ли этих сапог на семь лет, и Китоврас рассмеялся. Идя далее, Китоврас увидел свадьбу и расплакался. И спросил Соломон у Китовраса, почему он смеялся.

Видех на человеке сем, сказал Китоврас, яко не будет до седми дний жив.

И спросил Соломон у Китовраса, почему он плакал.

Сжалихся, сказал Китоврас, яко жених той не будет жив до тридцати дний.

Однажды мальчик сказал:

Я не понимаю, почему смеялся Китоврас. Потому что знал, что этот человек воскреснет?

Не знаю. Не уверен.

Христофор и сам чувствовал, что лучше бы Китоврасу было не смеяться.

Чтобы Арсений легко засыпал, Христофор клал ему под подушку траву плакун. Оттого Арсений засыпал легко. И сны его были безмятежны.

В начале второй седмицы Арсениевых лет отец привел мальчика к Христофору.

В слободке беспокойно, сказал отец, ждут морового поветрия. Пусть мальчик здесь побудет вдалеке от всех.

Побудь и ты, предложил Христофор, и жена твоя.

Имам, отче, пшеницу жати, где бо зимою брашно обрящем? Только плечами пожал.

Христофор растолок горячей серы и дал ему с собой, чтобы принимали в яичном желтке и запивали соком шиповника. Велел окон не открывать, а утром и вечером раскладывать во дворе костер на дубовых дровах. Когда затлеют уголья, бросать на них полынь, можжевельник и руту. Всё. Это все, что можно сделать. Христофор вздохнул. Блюдися сея скорби, сыне.

Глядя, как отец идет к телеге, Арсений заплакал. Как невысокий, прыгающей походкой идет. Полуприсев на борт, забрасывает ноги на сено телеги. Берется за вожжи и чмокает лошади. Лошадь храпит, дергает головой, мягко трогает. На утопанном грунте копыта звучат глухо. Отец слегка покачивается. Обернувшись, машет. Уменьшается в размерах и сливается с телегой. Превращается в точку. Исчезает.

Что убо плачеша, спросил мальчика Христофор.

Зрю на нем знамение смертно, ответил мальчик.

Он плакал семь дней и семь ночей. Христофор молчал, потому что знал, что Арсений прав. Он тоже видел знамение. И еще знал, что его травы и слова здесь бессильны.

В полдень восьмого дня Христофор взял мальчика за руку, и они направились в Рукину слободку. Стоял ясный день. Они шли, не приминая травы и не поднимая пыли. словно на цыпочках. словно входя в комнату с покойником. На подходе к Рукиной слободке Христофор достал из кармана вымоченный в винном уксусе корень дягиля и разломил его на две части. Половину взял себе, половину дал Арсению.

Вот, держи во рту. С нами Божья сила.

Селение встретило их воем собак и мычанием коров. Христофор хорошо знал эти звуки, их нельзя было спутать ни с чем. То была музыка чумы. Дед и внук медленно шли по улице, но только собаки рвались с цепей им навстречу. Людей не было. Когда они приблизились к дому Арсения, Христофор сказал:

Дальше не ходи. Здесь в воздухе смерть.

Мальчик кивнул, потому что видел ее крыла. Они витали над домом. Разогретым воздухом дрожали над коньком крыши.

Христофор перекрестился и вошел во двор. У ограды лежали снопы необмолоченной пшеницы. Дверь в избу была открыта. Под августовским солнцем этот зияющий прямоугольник выглядел зловеще. Из всех красок дня он вобрал в себя только черноту. всю возможную черноту и холод. Попав туда, как можно было остаться в живых? Поколебавшись, Христофор сделал шаг к двери.

Стой, раздалось из темноты.

Этот голос напоминал голос его сына. Но только напоминал. Как будто кто-то, не его сын, этим голосом воспользовался. Христофор не поверил ему и сделал еще один шаг к двери.

Стой, убью.

В темноте раздался грохот, и, словно выпав из чьей-то руки, о дверной косяк ударился молоток.

Дай осмотреть вас, прохрипел Христофор.

У него перехватило горло.

Мы уже умерли, сказал голос. И непричастны живым. Не входи, чтобы Арсений выжил.

Христофор остановился. Он слышал, как пульсирует на виске вена, и понимал, что сын говорит правду.

Пить, простонала из темноты мать.

Мама, крикнул Арсений и бросился в избу.

Он зачерпнул из бадьи воды и подал упавшей с лавки матери. Он целовал ее желеобразное лицо, но она словно спала и не могла открыть глаз. Он пытался оторвать ее от пола и ладонями чувствовал воспаленные узлы ее подмышек.

Сынок, я уже не могу проснуться...

Рука отца схватила Арсения и швырнула его к порогу. От порога его оттаскивал уже Христофор. Арсений закричал так, как не кричал никогда, но в слободке его никто не услышал. Когда наступила тишина, он увидел на пороге мертвое тело отца.

С тех пор Арсений поселился у Христофора.

Мальчик несомненно одарен, записал однажды Христофор. Он схватывает все на лету. Я обучил его травному делу, и оно прокормит его в жизни. Я передам ему

многие другие знания, чтобы расширился его кругозор. Пусть узнает, каким сотворен мир.

В звездную октябрьскую ночь Христофор повел мальчика на луг и показал ему схождение твердей – небесной и земной:

В начале сотвори Господь небо и землю. Того ради сотвори, дабы не мнели человеци, яко без начала суть небо и земля. И разлучи Бог межи светом и тьмою. И нарече Бог свет день, а тьму нарече ночь.

Трава ласково терлась об их ноги, а над головами пролетали метеориты. Затылком Арсений ощущал тепло руки Христофора.

И сотвори Бог солнце на просвещение дня, а луну и звезды на просвещение ночи.

Велики ли светила, спросил мальчик.

Да в общем... Христофор наморщил лоб. Окружность Луны составляет сто двадцать тысяч стадий, а окружность Солнца – приблизительно, конечно, – три миллиона стадий. Это они только кажутся маленькими, но настоящие их размеры трудно себе даже представить. Взыди на гору высоко и воззри на поле. Тамо пасома стада не яко ли мравие мнятся зраку твоему? Тако и светила.

Несколько последовавших дней они говорили о светилах и предвестиях. Христофор рассказывал мальчику о двойном солнце, которое видел в жизни не раз: его появление на востоке или на западе знаменует великий дождь и ветер. Иногда солнце кажется людям кровавым, но это происходит от мгlistых испарений и указывает на высокую влажность. Иногда же солнечные лучи похожи на волосы (Христофор гладит Арсения по волосам), а облака будто горят, и это – к ветру и холоду. Если же лучи пригнутся к солнцу, а облака на закате почернеют – к ненастью. Когда на закате солнце чистое – к тихой и ясной погоде. Ясную погоду знаменует и трехдневная луна, если она чистая и тонкая. Если же она тонкая, но как бы огненная, – к сильному ветру, а уж когда оба рога месяца равны и северный рог чист – к упокоению западных ветров. В случае потемнения полной луны жди дождей, а в случае ее утончения с двух сторон – ветра, а венец вокруг луны – признак ненастья, потемневший венец – тяжкого ненастья.



Раз мальчика это очевидным образом интересует, почему же ему об этом не рассказать, спросил Христофор сам себя.

Однажды они пришли на берег озера, и Христофор сказал:

Повелел Господь, чтобы воды произвели рыб, плавающих в глубинах, и птиц, парящих по тверди небесной. И те и другие созданы для плавания в свойственных им стихиях. Еще повелел Господь, чтобы земля произвела душу живую – четвероногих. До грехопадения звери были Адаму и Еве покорны. Можно сказать, любили людей. А теперь – только в редких случаях, как-то все разладилось.

Христофор потрепал по загривку трусившего за ними волка.

И если разобраться, то птицы, рыбы и звери во многом подобны человекам. В этом, видишь ли, наша всеобщая соединенность. Мы учим друг друга. Львенок, Арсение, всегда рождается у львицы мертвым, но на третий день приходит лев и вдыхает в него жизнь. Это напоминает нам о том, что и дитя человеческое до своего крещения мертво для вечности, а с крещением – оживает. А еще есть рыба-многоножица. К камню какого цвета она подплывет, такого цвета и сама становится: к белому – белая, к зеленому – зеленая. Таковы, чадо, и иные люди: с христианами они христиане, а с неверными – неверные. Есть же и птица феникс, которая не имеет ни супруга, ни детей. Она ничего не ест, но летает среди ливанских кедров и наполняет свои крылья их ароматом. Когда она стареет, то взлетает ввысь и воспламеняется от небесного огня. И, спустившись вниз, зажигает гнездо и сгорает сама, и в пепле гнезда своего возрождается червем, из которого со временем и вырастает птица феникс. Так, Арсение, принявшие мучение за Христа возрождаются во всей славе для Царства Небесного. Есть, наконец, птица харадр, вся сплошь белая. И аще кто в болезнь впадет, есть от харадра разумети, жив будет или умрет. Да аще будет ему умрети, отвратит лице свое харадр, аще ли будет ему живу быти, то харадр, веселуясь, взлетит на воздух противу солнца – и все понимают, что харадр взял язву болящего и развеял ее в воздухе. Так и Господь наш Иисус Христос вознесся на древо крестное и источил нам пречистую кровь Свою на исцеление греха.

Где же нам взять эту птицу, спросил мальчик.

Будь сам этой птицей, Арсение. Ты ведь немного летаешь.

Мальчик задумчиво кивнул, и от его серьезности Христофору стало не по себе.

Последние листья с берега сдувало в черную воду озера. Листья в замешательстве катились по бурой траве, а затем дрожали на озерной ряби. Отплывали всё дальше. У самой воды виднелись глубокие следы сапог рыбаков. Следы были полны воды и казались извечными. Раз и навсегда оставленными. В них тоже плавали листья. Лодка рыбаков покачивалась недалеко от берега. Покрасневшими от холода руками рыбаки тянули сеть. Их лбы и бороды были мокры от пота. Рукава их одежд отяжелели от воды. В сети билась среднего размера рыба. Блестя на тусклом осеннем солнце, она взбивала вокруг лодки брызги. Рыбаки были довольны уловом и что-то громко кричали друг другу. Их слов Арсений не разбирал. Он не мог бы повторить ни одного слова рыбаков, хотя слышал их отчетливо. Сбросив смысловую оболочку, слова неторопливо превращались в звуки и растворялись в пространстве. Небо было бесцветным, потому что все краски уже отдало лету. Пахло печным дымом.

Арсений почувствовал радость от того, что, придя домой, они также затопят печь и насладятся особым осенним уютом. Топили они, как и все вокруг, по-черному. После топки стены избы были теплыми. Толстые бревна долго держали тепло. Еще дольше его держала глиняная печь. Уложенные у дальней печной стенки камни раскалялись докрасна. Дым поднимался под высокий потолок и задумчиво выходил через открывавшийся над дверью дымоход. Дым казался Арсению живым существом. Его неторопливость успокаивала. Дым жил в верхней, черной от копоти части избы. Нижняя была нарядной и светлой. Верхняя и нижняя части избы разделялись полавочниками – широкими досками, на которые сыпалась сверху сажа. При правильной топке ниже полавочников дым не опускался.

Топить печь было обязанностью Арсения. Из дровяника он приносил березовые поленья и складывал их в печи домиком. Между поленьями проталкивал хворост. Огонь разводил при помощи тлеющих углей. Он доставал их из очелков, особых печных ниш, где угли для растопки хранились под слоем золы. Он зарывал угли в сухие листья и изо всех сил дул. Листья медленно меняли цвет. Уже горя с внутренней стороны, они еще изображали безразличное усыхание, но с каждым мгновением это было для них все сложнее: огонь охватывал их внезапно и сразу со всех сторон. С листьев огонь перебрасывался на хворост, с хвороста – на поленья. Поленья начинали гореть с боков. Если они были влажными, то трещали, выстреливая снопами искр. В огненной метели ребенок видел птицу феникс и указывал на нее сидевшему рядом волку. Волк время от

времени жмурился, но было непонятно, видит ли он птицу на самом деле. Посматривая с сомнением на волка, Арсений сообщал Христофору:

Он сидит неестественно, я бы сказал, напряженно. По-моему, он просто боится за свою шкуру.

Мальчик был прав. Вылетавшие из печи снопы искр доставляли волку определенное беспокойство. Лишь когда огонь приступал к ровному завершающему горению, волк растягивался на полу и по-собачьи клал голову на лапы.

Мы в ответе за тех, кого приручили, говорил, глядя волка, Христофор.

Глядя в печь, Арсений видел там порой свое лицо. Его обрамляли седые волосы, собранные в пучок на затылке. Лицо было покрыто морщинами. Несмотря на такое несходство, мальчик понимал, что это его собственное отражение. Только много лет спустя. И в иных обстоятельствах. Это отражение того, кто, сидя у огня, видит лицо светловолосого мальчика и не хочет, чтобы вошедший его беспокоил.

Вошедший топчется у порога и, приложив палец к губам, шепчет кому-то через плечо, что Врач всея Руси сейчас занят. Наблюдает пламя.

Впусти ее, Мелетий, говорит старец, не оборачиваясь. Чего ты хочешь, жено?

Жити хощу, Врачу. Помози ми.

А умереть не хочешь?

Есть которые хотят умереть, поясняет Мелетий.

У меня сын. Пожалей его.

Вот такой? Старец показывает на устье печи, где в контурах пламени угадывается образ мальчика.

Ты напрасно, княгиня, на колени становишься (Мелетий взволнован и грызет ногти), он ведь этого не любит.

Старец отрывает взгляд от пламени. Подходит к стоящей на коленях княгине и опускается на колени рядом с ней. Мелетий, пяясь, выходит. Старец берет княгиню за подбородок, смотрит ей в глаза. Тыльной стороной ладони вытирает ее слезы.

У тебя, жено, опухоль в голове. Оттого ухудшается твое зрение. И притупляется слух.

Он обнимает ее голову и прижимает к своей груди. Княгиня слышит биение его сердца. Затрудненное стариковское дыхание. Сквозь его рубаху чувствует прохладу нательного креста. Жесткость его ребер. Ей самой удивительно, что она все это замечает. За закрытыми дверями режет лучины Мелетий. Выражение на его лице отсутствует.

Веруй Господу и Пречистой Его Матери и обрящешь помощь. Старец касается сухими губами ее лба. А опухоль твоя будет уменьшаться. Иди с миром и более не печалься.

Отчего ты плачешь, Арсение?

Я плачу от радости.

Арсений безмолвно поворачивается к волку. Волк слизывает его слезы.

Человек сотворен из праха. И в прах обратится. Но тело, которое ему дано на время жизни, прекрасно. Ты должен знать его как можно лучше, Арсение.

Так говорил Христофор, бальзамируя Андрона Новгородца перед отправкой покойника на родину. В одной из бань Рукиной слободки Христофор втирал в кожу Андрона кедровую смолу, смешанную с медом и солью. От прикосновений

Христофора Андрон подрагивал всем телом и казался живым. Это впечатление усиливал большой член покойного, вроде бы не соответствовавший низкорослому, хотя и крепко сложенному Андрону Арсению казалось, что Андрон сейчас встанет, поблагодарит Христофора за хлопоты и выйдет на свежий воздух. Но Андрон не вставал. После ночной драки он лежал с проломленным черепом и первыми трупными пятнами в области спины. Приезжего Андрона интересовали слободские девушки (еще вчера). Это стало причиной драки. Сегодня Андрон готовился к своей последней дороге в Новгород.

В малом человеческом теле (говорил Христофор), подобно солнцу в капле воды, отражается безграничная премудрость Божия. Всякий орган продуман до мелочей. Сердце, например, питает все тело кровью, и в нем, как говорят, сосредоточены наши чувства, вот почему оно надежно защищено ребрами. Зубы – жуют, и потому они из твердой кости, язык – распознает вкус, а потому мягкий и пористый, как губка, ухо создано в виде раковины, чтобы ловить летящие звуки. Между прочим, оттопыренные уши (Христофор провел пальцем по уху Андрона) – признак празднословия. Но есть еще внутреннее ухо, которого не видно. Оно ведет звуки от внешнего уха к мозгу, и мозг превращает звуки в речь. К мозгу идут жилы и от глаз, и опять-таки мозг превращает буквы в слова. Он – царь всего тела и находится на самом верху, потому что из всех тварей земных лишь человек – разумный и прямоходящий. Его бесплотная мысль, находясь в теле, возносится к небесам и постигает совершенство мира сего. Ум – очи души. Когда эти очи повреждаются, душа становится слепа.

Что такое душа, спросил Арсений.

То, что Господь вдыхает в тело, то, что отличает нас от камней и растений. Душа делает нас живыми, Арсение. Уподоблю ее пламени, исходящему от земной свечи, но земной природы не имеющему, стремящемуся ввысь к соприродным стихиям.

Если живой делает душа, значит, она есть и у животных? Арсений показал на стоявшего рядом волка.

Да, у животных есть душа, но она соприродна их телу и заключена в крови их. И заметь: до потопа люди не ели животных, щадя их душу, ибо с телом животного душа его умирает. Душа же человеческая телу иноприродна и с телом не умирает, несть бо душа человеческа от вещи иная, но от самого Творца вдуновена благодатию.

Что судится телеси человеческому?

Тело наше в персть разыдется. Но Господь, создавший тело из персти, наша телеса разшедшая купно восставит. Ведь это, знаешь, только кажется, что тело разлагается без следа, что смешивается с другими элементами, становясь землей, рекой, травой. Наше тело, Арсение, как разлитая ртуть, которая лежит, распавшись на мелкие шарики, на земле, но с землей не смешивается. Она лежит себе до тех пор, пока не придет некий умелец и не соберет ее обратно в сосуд. Так и Всевышний вновь соберет наши разложившиеся тела для всеобщего воскресения.

Трудами Христофора разложение тела Андрона приостанавливалось. Тело матово поблескивало и издавало запах кедра. Оно было неправдоподобно белым. Исключение составляли лицо и руки до локтя, хранившие следы недавнего загара. Завершив втирание бальзамирующей мази, Христофор стал обматывать Андрона холщовыми лентами. С громким треском он отрывал их от принесенного ему куска полотна, обмакивал в мазь и туго прижимал к телу усопшего. Андрон не сопротивлялся. Неплотно сомкнутые веки придавали ему саркастический и какой-то даже бесшабашный вид. Казалось, что Андрон посмеивался над усилиями вспотевшего Христофора. Всем своим обликом как бы давал понять, что уж до Новгорода он доберется при любых обстоятельствах.

Христофор не смотрел на лицо Андрона. Он оборачивал его тело лента за лентой, плотно завязывая концы.

Раз уж зашел разговор о теле, сказал Христофор, я расскажу тебе, как начинаются дети. В конце концов, сам ты уже не ребенок, и тебе пора знать, что со времени грехопадения Адама и Евы люди более не творятся Господом, но сами рожают своих детей. Впоследствии же они умирают, потому что с даром рождения обрели дар смерти. Ребенок зачинается от мужского семени и женской крови. Мужское семя дает твердость костей и жил, женская же кровь дает мягкость плоти. Кровь, как ты знаешь, красная и течет по сосудам, а мужское семя находится здесь (показав на крупные яйца Андрона, Христофор примотал их к бедру), и оно белого цвета.

Арсений знал, какого цвета семя, но Христофору этого не сказал. Он говорил об этом на исповеди старцу Никандру.

Держи руки поверх покрывала, посоветовал старец Никандр.

Это было не дома, а на кладбище, сказал Арсений.

Ничего себе, присвистнул старец. Еще и на кладбище. Там ведь лежат живые люди.

Я видел только мертвых.

Для Бога все живые.

Арсений отвернулся:

А я стал бояться смерти.

Старец провел рукой по волосам Арсения. Сказал:

Каждый из нас повторяет путь Адама и с потерей невинности осознает, что смертен. Плачь и молись, Арсение. И не бойся смерти, потому что смерть – это не только горечь расставания. Это и радость освобождения.

Читать Арсений выучился рано. Буквы, показанные ему Христофором, он запомнил за несколько дней и вскоре без труда складывал их в слова. Поначалу ему мешало, что слова в большинстве книг не отделялись друг от друга, а шли сплошной чередой. Однажды Арсений спросил, почему слова не пишутся порознь.

А разве они произносятся порознь, спросил его в свою очередь Христофор. Я тебе больше скажу. Порой уже не существенно, как и кем слово сказано. Важно лишь то, что оно было сказано. На худой конец подумано.

Первым и любимым чтением Арсения стали записи Христофора на бересте. На то имелось несколько причин. Берестяные грамоты были написаны крупным четким почерком. Они были невелики по размеру. Они были самым доступным чтением, поскольку лежали в избе повсюду. Наконец, Арсений видел, как они изготавливались.

Весной, в пору движения древесных соков, Христофор занимался заготовкой бересты. Он обдирал ее со стволов аккуратными широкими полосами и несколько часов вываривал в рассоле. Береста становилась мягкой и теряла свою хрупкость. После обработки Христофор разрезал бересту на ровные листы. Теперь она была готова к употреблению, вполне заменяя собой дорогую бумагу.

Специального времени для письма у Христофора не было. Он мог писать утром, днем и вечером. Иногда, если в голову ему приходила важная мысль, он вставал и записывал ее ночью. Христофор записывал прочитанное в книгах: бысть у Соломона царя семь сот жен, а наложниц триста, а книг осемь тысяч. Записывал свои собственные наблюдения: месяца септемвриа в десятый день выпадет Арсениеву зуб. Записывал врачевательные молитвы, состав лекарств, описания трав, сведения о природных аномалиях, приметы погоды и короткие назидательные высказывания: блюдися молчаниа злаго мужа, акы отай хапающаго злаго пса. На внутренней стороне бересты процарапывал буквы костяным писалом.

Христофор писал не потому, что боялся что-либо позабыть. Даже достигнув старости, он не забывал ничего. Ему казалось, что слово записанное упорядочивает мир. Останавливает его текучесть. Не позволяет понятиям размываться. Именно поэтому так широк был круг интересов Христофора. По мысли писавшего, этот круг должен был соответствовать широте мира.

Записи свои Христофор обычно оставлял там, где они были сделаны, – на лавке, на печи, на поленнице. Не поднимал, когда они сваливались на пол, смутно предвидя их позднейшее обнаружение в культурном слое. Христофор понимал, что написанное слово останется таковым навсегда. Что бы ни случилось впоследствии, будучи записанным, это слово уже состоялось.

Следя за перемещениями Христофора, Арсений уже знал, где искать его записи. Порой на месте обнаруженной грамоты в тот же день находилась другая, а то и не одна. Временами дед казался Арсению курицей, несущей золотые яйца, их надо было только успевать собирать. По выражению лица Христофора мальчик



научился отгадывать даже характер записываемого. Сдвинутые брови позволяли предполагать, что в текущей грамоте обличались еретики. Выражение тихой радости сопровождало преимущественно назидательные высказывания. При указании высот, объемов и расстояний Христофор, по наблюдениям Арсения, задумчиво почесывал нос.

Берестяные грамоты дитя читало вслух. В Средневековье вообще читали преимущественно вслух, на худой конец просто шевелили губами. Наиболее понравившиеся записи складывались Арсением в особую корзину. Аще кто костию подавится, призови на помощь святого Власия. Василий Великий глаголет, яко Адам бысть в Раи сорок дней. Не имей дружбы с женою, да не сгориши огнем. Разнообразие сведений поражало воображение ребенка.

Но круг его чтения берестяными грамотами не ограничивался. Под одной из икон в красном углу лежала Александрия, древняя повесть об Александре Македонском. Эта книга была некогда переписана Феодосием, дедом Христофора. Се аз, Феодосий грешный, преписах книгу сию в память храбрых человек, дабы деяния их не беспмятны были. Так на первом листе обращался к потомкам Феодосий. В лице Арсения он нашел самого благодарного своего читателя.

Арсений осторожно отставлял икону вбок и двумя руками снимал книгу с подставки. Сдувал с переплета пыль и проводил рукой по его почерневшей коже. Пыли на переплете не было, но Арсений видел, что так поступал Христофор. Затем мальчик брался за застежки и отщелкивал их с тихим медным звуком. Се аз, Феодосий... Под записью помещался выполненный прапрадедом портрет Александра. Герой сидел в неудобной позе с царским венцом на голове.

Александрию Арсений читал постоянно. Он читал ее сидя на лавке и лежа на печи, зажав руки между колен и навалившись головой на ладони, утром и вечером. Иногда – ночью, при свете лучины. Христофор не возражал: ему нравилось, что мальчик много читает. При первых словах Александрии к Арсению подходил волк. Он укладывался у его ног и слушал необычное повествование. Вместе с Арсением внимательно следил за событиями жизни македонского царя.

Так, выяснялось, что, прибыв на Восток, Александр обнаружил там диких людей. Рост их составлял две сажени, а головы (рука Арсения на голове волка) были косматы. Через шесть дней в глубине пустыни Александрово войско встретило

удивительных людей, имевших каждый по шесть рук и по шесть ног. Александр многих из них убил, а многих схватил живыми. Он хотел привести их в обитаемый мир, но никто не знал, что едят эти люди, и все они умерли. Муравьи в той земле были такого размера, что один из них, схватив коня, уволок его в свою нору. И тогда Александр велел принести соломы и поджечь ее, и муравьи сгорели. Потом же, пройдя еще шесть дней, Александр увидел гору, к которой железными цепями был привязан человек. Этот человек был тысячу сажень в высоту и двести сажень в ширину. Видя его, Александр удивился, но подойти к нему не посмел. И человек этот плакал, и еще четыре дня они слышали его голос. Оттуда пришел Александр в лесистую местность и увидел других странных людей: выше пояса – люди, ниже пояса – лошади. Когда он попытался привести их в обитаемый мир, на них подул холодный ветер, и все они умерли. И прошел Александр от того места сто дней, и приблизился к пределам вселенной, ощутив тоску.

Арсений закрыл книгу, которую читал на кладбище в лучах уходящего солнца. Еще не было холодно. Камни, нагретые за день, излучали тепло. Вытянувшись на могильной плите, мальчик ощущал его всем телом. Плита была безымянной.

Почему на могилах нет имен, спросил однажды Арсений.

Потому что Господу они и так известны, ответил Христофор. А потомкам имена без надобности. Через сто лет уже никто не вспомнит, кому они принадлежали. Бывает, что и через пятьдесят. А может быть, даже через тридцать.

Так помнят во всем мире или только в Рукиной слободке?

Пожалуй, что во всем мире. Но особенно – в Рукиной слободке. Мы не строим мраморных склепов и не высекаем имен, ибо нашим кладбищам дано право превращаться в леса и поля. Что отрадно.

Значит, у наших людей короткая память?

Можно сказать и так. Только память не должна быть слишком длинной. Это, знаешь, тоже ни к чему. Нужно ведь что-то и забывать. Я вот помню (Христофор показал на плиту серого камня), что здесь лежит Елеазар Ветроудуй. Он был состоятельным человеком и мог позволить себе такую плиту. Но я помнил бы его и без нее. Этот человек слегка прихрамывал и говорил резким гортанным

голосом. Говорил отрывочно, время от времени замолкая, так что речь его тоже была хромой. Страдал от избытка газов. Громко пукал, и я давал ему настой ромашки. Давал укропную воду, другие ветрогонные средства. И запрещал пить на ночь парное молоко. Но, владея коровой, Елеазар любил молоко паче меры и упивался им в вечерние часы. Что приводило к ветрам во чреве. А еще Елеазар любил резьбу по дереву. И лучше его не резал никто в Рукиной слободке, особенно когда дело касалось оконных наличников. Работая, сопел. Приговаривал что-то вполголоса, как бы про себя. Проводил по губам ладонью, словно останавливая речь. Словно боясь сказанного. Хотя ничего опасного он, если разобраться, не говорил. Так, рассуждал о свойствах дерева, о том, что нам всем в слободке и без того известно: что дуб – твердый, а сосна – мягкая. И веришь ли, Арсение, еще висят его наличники, а Елеазара уже не помнят. Спросишь, бывало, молодого: кто сей Елеазар? Не дает ответа. Да и старики помнят смутно, потому что помнят равнодушно, без любви. А Господь помнит с любовью, и в своей памяти не упустит никакой мелочи, и не нужно Ему его имени.

Арсений лежит на теплой плите. Лежит животом вниз, рядом с ним закрытая Александрия. Его лица касаются желтые головки лютиков. Ему щекотно, и он улыбается. Волк едва заметно виляет хвостом.

Елеазар, пукни, тихо просит мальчик. Хотя бы раз. Пусть это будет твоим сигналом оттуда.

Елеазар обиженно молчит.

Душными июльскими днями убили старца Нектария. Старец жил в лесном скиту недалеко от монастыря. По утрам на плечи его садились птицы, и он отдавал им доставленный из монастыря хлеб. Перед смертью старца Нектария пытали в расчете найти деньги, но денег у него не было. Имелось лишь несколько книг. Их и забрали, оставив измученное тело старца на поляне у скита. На следующий день тело нашли монастырские послушники и думали, что оно мертво. В теле, однако, еще бодрствовал дух, но оставалось его на одно лишь слово: прощаю. Злодеи же, томясь в ожидании Страшного Суда, продолжали шататься по

округе. Они нападали на одиноких путников и отдаленные хутора, и никто не знал, как они выглядят, потому что никто еще не уходил от них живым.

Но однажды они убили человека, шедшего с собакой. Они сняли с него одежду и бросили тело лежать на дороге, собака же осталась сторожить своего хозяина. И нашел его милосердный человек, содержавший придорожную корчму. Он прочел молитву об упокоении раба Божьего, его же имя Бог весть, и предал нагое тело земле. Собака, увидев явленное милосердие, пошла за ним, да так и осталась в его корчме.

В один из дней попытался войти в корчму некто пьяный, и собака отчаянно залаяла, возбраняя ему войти. И когда все повторилось несколько раз, вспомнили историю этой собаки и заподозрили неладное.

Человек был схвачен и подвергнут испытанию водой. Брошенный в озеро связанным, стал он тонуть, и все уж было подумали, что испытуемый, как и утверждал, невиновен, но через мгновение он показался над озерной рябью и плавал себе как ни в чем не бывало. Он кричал, что на поверхности его держит алкоголь, который легче воды, но все понимали, что держит его нечистая сила.

И когда его вина явилась всем, он был подвергнут испытанию каленым железом, какового также не выдержал, потому что по характеру ожогов стало очевидно, что он лжет. Когда же его прижгли как следует, он рассказал, что остальных злодеев числом три следует искать на заброшенном хуторе в пяти верстах отсюда. Пять верст проскакали как одну. Окружили хутор, чтобы никто не ушел. В первой же избе обнаружили двоих, при них книги, взятые у старца. Пока их связывали, не заметили, как убили. А вернулись обратно и узнали, что прежде схваченный по испытанию умре. И будучи человеколюбивы, вздохнули с облегчением, потому что дали усопшим надежду на Страшном Суде – если не на оправдание (святого ведь человека убили), то на снисхождение, чтобы им, претерпевшим муку zde, уменьшилась бы мука тамо.

Но четвертый злодей остался непойманным. Его пытались и дальше ловить, но это было затруднительно, поскольку неизвестен был ни вид его, ни то вообще, кто он.

Кто он, спросил в печали Арсений.

Русский человек, кто же еще, ответил Христофор. Других здесь вроде бы не водится.

В один из дней, когда сгустились сумерки, они заметили на кладбище движение. Почувствовали скорее. От безмолвного деревенского погоста на них дохнуло беспокойством. В мелькнувшей тени Арсению привиделась тень умершего, но Христофор призвал его сохранять присутствие духа. Старику было известно, что бояться надо живых. Все случившиеся с ним доселе неприятности исходили именно от них. Ничего не объясняя Арсению, он велел ему незаметно покинуть дом и идти в деревню звать людей.

Пойдем вместе, дедушка. Не нужно здесь оставаться.

Нет, сказал Христофор, зажигая лучину. Мне надо остаться, чтобы не вызывать у него подозрений. Иди, Арсение.

Арсений вышел.

Через минуту он вновь появился в дверях. Влетел в них, словно внесенный посторонней силой. Эта сила немедленно явилась и Христофору. За спиной Арсения стояла фигура, и старик сразу ее узнал. То была смерть. Она распространяла запах немытого тела и ту нечеловеческую тяжесть, от которой в душе рождался ужас. Которую чувствовало все живое. От которой за окном прежде времени облетели деревья. И попадали птицы. С хвостом между ног полез под лавку волк.

Далеко птичка собралась, да недалеко отлетела.

Он сказал это хриплым несмазанным голосом. Почесывая свалявшуюся бороду. Поколебавшись, задвинул засов на двери. Подошел к Христофору, и тот ощутил его испорченный выдох.

Что, страшно, земляк?

Веруши ли во Христа, твердо спросил его Христофор.

Живем в лесу, молимся колесу. Такая наша вера. А еще, земляк, нам деньги требуются. Поищи, что ли.

Отчего ж это я тебе земляк?

Вошедший подмигнул. Ты оттого земляк, что уже, считай, земле принадлежишь. (Из-за голенища сапога достал нож.) Я тебя туда и отправлю.

Дам тебе денег, а ты уходи с Богом. Мы про тебя никому не скажем.

Да уж не скажете. (Беззубо улыбнулся. Развернулся и ударил Арсения рукоятью ножа. Арсений упал.) Поторопись, земляк: дальше бью лезвием.

Преувеличенно замахнулся.

Волк прыгнул.

Волк прыгнул и повис у пришедшего на руке. Висел, вцепившись выше локтя и упираясь лапами в бок. Это была рука без ножа. Рука с ножом несколько раз погрузилась в волчью шерсть, но волк продолжал висеть. Он сжал свои челюсти навсегда. И тогда нож выпал. Неживым механическим движением правая рука протянулась на помощь левой. Она схватила волка за загривок и стала отрывать его от страдающей плоти. Морда волка вытянулась, как стаскиваемая маска. Глаза превратились в два белых шара. Они глядели куда-то в потолок и отражали разгоревшуюся лучину.

Христофор подобрал нож, но пришедший не думал о ноже. Он мучительно отрывал от себя волка и, наконец, оторвал. Что оставалось у волка в пасти – кусок рубахи? Мяса? Кости? Волк и сам этого не знал. Он лежал на полу и рычал, не разжимая зубов. Только это была не рука, потому что пришедший уходил вроде бы с рукой. Что-то вроде бы висело у него на плече, но что именно – понять уже не было возможно. Оно висело, как плеть, безвольно и непрочно, Арсению показалось, что даже может отвалиться. Пришедший бился в дверь и все никак не мог выйти. Христофор удержал его за целую руку и открыл засов. Тот, выходя, ударился головой о притолоку. Ударился в сених еще раз. Мелкими шагами зашуршал по осенним листьям. Стих. Исчез. Растворился.

Слава Тебе, Господи Вседержителю, яко не остави ны. Христофор опустился на колени и осенил себя крестным знамением. Склонился над Арсением. Мальчик все еще лежал на полу, по щеке и волосам была размазана кровь. На светлых волосах Арсения кровь смотрелась особенно ярко – даже при свете лучины.

Только бровь рассечена, ничего страшного. Христофор помог Арсению встать. Сейчас заклеим подорожником.

Подожди, остановил его Арсений. Посмотри, что с волком.

Волк лежал в луже крови. Не двигался. Христофор разомкнул ему пасть и вынул оттуда что-то страшное. Не показывая Арсению, вынес это из избы. Когда Христофор вернулся, у волка дрогнул хвост.

Жив, обрадовался Арсений.

Жив ли? Христофор, сопя, осматривал волка. Прочной жизни я в нем не вижу. Только кратковременные признаки.

Волк мелко дрожал, голова его лежала на лапах.

Спаси его, дедушка.

Христофор взял нож и срезал шерсть вокруг ран. Нагрев смесь целебных масел, осторожно нанес на рассеченную плоть. Волк дрогнул, но головы не поднял. Остриженные части волчьего тела Христофор присыпал толчеными листьями дуба. Прикрыл согретыми после ледника кусками ветчины и стал обматывать холстиной. Арсений приподнимал волка, а Христофор пропускал под ним холстину. Волк не сопротивлялся. Никогда еще тело его не было так податливо. В мышцах больше не было упругости. Глаза были открыты, но в них не отражалось ничего, кроме мучения.

Арсений растопил печь, а Христофор принес из сарая соломы. Они аккуратно сложили солому у печи и перенесли на нее волка. Волк смотрел на огонь не мигая. Огонь больше не доставлял ему беспокойства.

Арсений почувствовал, что сил у него больше не осталось. Он сел на лавку и уперся в нее руками. Последнее, что запомнил, было успокоительное прикосновение Христофора, подложившего ему под голову подушку.

Когда утром они проснулись, волка в избе не было. Кровавый след тянулся от печи к двери, оттуда – во двор. Терялся в скользкой подгнивающей листве на дороге.

Он не мог далеко уйти, и мы его найдем. Арсений посмотрел на Христофора. Почему ты молчишь?

Он ушел умирать, сказал Христофор. Так свойственно животным.

По настоянию Арсения они отправились на поиски волка. Они не знали, где искать, и отправились туда, где когда-то его встретили. Но волка там не было. Они ходили и по другим знакомым волку местам, но не нашли его. Короткий осенний день клонился к закату.

Уже в полумраке они увидели приходившего накануне. Он улыбался им отвалившейся челюстью и гостеприимно распахивал объятия. В этих объятиях не было естественности. В широко разбросанных руках застыли остатки агонии. Бездна стремление подняться. Арсений старался не видеть страшного месива на месте левой руки, но взгляд неумолимо возвращался именно туда, где ниже плеча белела кость. Поврежденная волком рука была уже объедена. Не приходилось сомневаться, что их появление прервало чей-то ужин. Когда Христофор вплотную подошел к покойному, Арсения вырвало.

Теперь будет легче, сказал Христофор.

Почти до самого дома они не разговаривали. Когда уже подходили к кладбищу, Арсений сказал:

Не знаю, как волк уходил в этой холстине. Это ведь было так тяжело.

Тяжело, подтвердил Христофор.



Арсений уткнулся Христофору в грудь и зарыдал. С рыданиями выходили его слова. Они двигались толчками, отрывисто и громко. Нарушая безмолвие кладбища.

Почему он ушел умирать? Почему не умер среди нас, его любивших?

Шершавым прикосновением Христофор вытер слезы Арсения. Поцеловал в лоб.

Так он предупреждал нас, что в последнюю минуту каждый остается наедине с Богом.

На Покров Христофор решил причаститься в Кирилловом монастыре. О поездке договорился с посещавшими его слободскими. В ночь перед Покровом за Христофором и Арсением заехала телега. На ней сидело еще четыре человека, отправлявшихся к празднику в монастырь. Они поздоровались, и из уст их изошло четыре струйки пара. Больше за всю дорогу они не произнесли ни звука, храня слова для грядущей исповеди. Эхом их безмолвия по мерзлой земле звенели копыта. Под ободами колес хрустел наст. Мороз ударил накануне, и грязь смерзлась бороздами и комками, превратив дорогу в стиральную доску. Арсений слышал постукивание своих зубов. Чтобы не прикусить язык, он старался покрепче сжимать челюсти. Сам не заметил, как заснул.

Проснулся оттого, что телега остановилась. Рваные края облаков подсвечивались луной. Несшиеся сквозь облака кресты рассекали их на части. Глядя на темные громады куполов, Арсений подумал, что больше нигде не видел таких высоких зданий. В ночной тьме они выглядели еще значительнее и таинственнее, чем днем. Это был Дом Божий. Светом сотен свечей он сиял изнутри.

Первым делом приехавшие поклонились святому Кириллу, исчислявшему двадцать восемь лет со дня умертвия. И восемь лет со дня прославления. Поставив свечи у раки преподобного, Христофор и Арсений отступили в полумрак. Оттуда они слушали окончание всенощного бдения. Оттуда видели, как на середину храма вышел старец Никандр и начал готовить пришедших к

исповеди.

Произнеся молитвы, старец достал из подрясника маленькую – в осьмушку – тетрадь, озаглавленную Грехи средней тяжести, присущие мирянам и духовным. Мелкие грехи в тетрадь не попадали, поскольку не считались достойными произнесения вслух. (Кайтесь в них про себя, учил он паству, и не морочьте мне этим голову. За такой дребеденью вы можете не дойти до главного!) Тяжких же грехов старец не записывал, опасаясь их увековечения. Он просил сообщать их ему на ухо и в этом ухе погребал навеки.

В списке грехов средней тяжести было опоздание на церковную службу или – наоборот – преждевременный уход со службы. Во время одной – разговоры, блуждание по храму, мысли о постороннем. Недолжное соблюдение поста, смех до слез, ругань, празднословие, подмигивание, пляски со скоморохами, обмер и обвес покупателя, кража сена, плевков в лицо, удар ножнами, распускание сплетен, осуждение монаха, чревоугодие, пьянство, подглядывание за купающимися. Арсений чувствовал, как его глаза вновь слипаются, а список старца Никандра был только в самом начале.

Под утро, когда перешли к личной исповеди, Арсению и Христофору почти уже нечего было добавить. Жизненных ситуаций, не предусмотренных старцем Никандром, было, как выяснилось, на удивление мало. Исповедовавшись, Христофор помедлил и заглянул старцу в глаза.

Что ты хочешь прочесть в моих глазах, спросил старец.

То ты и сам, отче, ведаеши.

Скажу тебе лишь, что счет идет не на годы. И даже не на месяцы. Прими эту информацию спокойно, без соплей, как то и подобает истинному христианину.

Христофор кивнул. Он видел, как в другом конце храма утомленный Арсений присел на корточки у столпа. Из то и дело открывавшихся дверей врывался ветер, и над головой мальчика покачивалось паникадило. Пламя свечей трепетало, вытягивалось, но не гасло. По влажности ветра Христофор понимал, что к исходу ночи потеплело. Он слышал крики далеких петухов, но за стенами храма по-прежнему зияла темнота, нарезанная аккуратными ромбами оконной решетки.

Вернувшись из монастыря, Христофор внимательно осмотрел дом. Через два дня из слободки по его заказу привезли бревен и досок. Подпирая каркас крыши брусом, Христофор и Арсений поменяли верхние венцы, прогнившие от дождя и теплых испарений. Христофор проверил стыки между бревнами сруба и во многих местах заново законопатил щели льном и мхом. Потом он заменил прохудившиеся доски пола на новые. Помимо запаха трав по избе распространился аромат свежеструганого дерева. В работе Христофора Арсений чувствовал спешку, но помогал деду, ни о чем не спрашивая.

Когда сгущались сумерки, Христофор экзаменовал Арсения на предмет знания трав. В необходимых случаях поправлял или дополнял его ответы, но таких случаев было мало. Все рассказанное ему когда-либо Арсений помнил превосходно.

В иные вечера Христофор просматривал имевшиеся книги и грамоты. Что-то он пролистывал быстро, на некоторых же листах останавливался и читал их, словно в раздумье. Шевелил губами. Иногда отрывался от листа и подолгу смотрел на лучину. Арсения это удивляло, потому что в доме все обычно читалось вслух.

Что убо чтеши, Христофоре?

Книги Авраамовы не от Священных Писаний.

Чти же в голос, да и аз послушаю.

И Христофор читал. По-стариковски отодвигая рукопись подальше от глаз, он читал о том, как Господь послал к Аврааму архангела Михаила.

Господь рече:

Глаголи Аврааму, яко пришло ему время изыти из жизни сея.

Архангел Михаил отправлялся к Аврааму и снова возвращался.

Это непросто, говорил он, сообщить о смерти Аврааму, другу Божию.

И тогда все открылось во сне Исааку, сыну Авраама. И среди ночи встал Исаак, и стал стучаться в комнату к отцу, говоря:

Отопри мне, отец, потому что я хочу увидеть, что ты еще здесь.

Когда же открыл двери Авраам, Исаак бросился к нему на шею, плача и лобзая его. Архангел же Михаил, который ночевал в доме Авраамовом, увидел их плачущими и плакал с ними, и были его слезы, как камни. Плакал и Христофор. Плакал Арсений, глядя, как в каплях Христофоровых слез на листе становятся яркими чернила.

И повелел Господь архангелу Михаилу украсить Смерть, идущую к Аврааму, красотой великою. И увидел Авраам, как Смерть приступает к нему, и убоился весьма, и сказал Смерти:

Молю тя, поведай ми, кто еси? И прошу, отойди от меня, ибо как увидел тебя, пришла душа моя в смятение. Не могу вынести твоей славы и вижу, что красота твоя не от мира сего.

По ночам, когда мальчик уже спал, Христофор писал на бересте о тех свойствах трав, которые по малолетству внука прежде не раскрывались им в полной мере. Он писал о травах, дающих забытие, и о травах, движущих постельные помыслы. Об укропе, которым присыпают геморрой, о траве чернобыль против колдовства, о толченом луке от укуса кота. О траве попугай, что растет по низким землям (нести при себе тамо, идеже хочещи просити денег или хлеба; аще у мужеска пола просиши, положи по правую сторону пазухи, аще у женска – по левую; коли же скоморохи играют, кинь им ту траву под ноги, они и передерутся). Для отгнания соблазна и блудных мечтаний пить отвар лаванды. Для проверки девственности – воду, в которой три дня лежал агат: выпив агатовой воды, потерявшая девственность ту воду в себе не удержит. Бирюза, если носить ее с собой, предохраняет от убийства, потому что никогда еще этого камня не видели на убитом человеке. Камень из желудка петуха возвращает отобранные неприятелем государства. Кто носит на себе магнит, нравится женщинам. Злато терто и внутрь приято исцеляет тех, кои сами с собою глаголют, и сами ся

спрашивают, и сами отвечают, и во уныние впадают. Легкое ведря иссушить, растереть и развести в воде. Кто эту воду выпьет, не будет пьян на пиру. Все.

Декабрьским утром 1455 года Христофор, вопреки обыкновению, не покинул постели. Он приподнялся и сел на ней, но двигаться дальше сил у него не было. Пришедшим к нему по некой надобности Христофор сказал:

Не глагольте ми мирская, яко боле не имам части с живыми. Расслабишася ми уды, и не возвещает се ничтоже, разве скорыя смерти и Суда Страшного Спасова будущаго века.

И пришедшие ушли.

Ближе к полудню Арсений помог Христофору выйти по нужде. Только тут он понял, что старик уже почти не мог ходить. Забросив руку Христофора себе на плечо, Арсений тащил его через двор. Ноги Христофора бессильно волочились. По старой привычке ходить они все еще двигались поочередно. Загребали свежавыпавший снег. По возвращении в избу Арсений спросил:

Что тебе дать, дедушка?

Дай отдышаться, чадо. Христофор сидел, сгорбившись, на краю постели. На лбу его выступила испарина. Дай отдышаться.

Ляг, дедушка.

Аще лягу, в той же час умру.

Не умирай, дедушка, потому что я останусь на свете один.

Сего ради, чадо, объя мя страх смертный. Разрывается сердце мое, и тяжело мне тебя оставлять, но возложу, по пророку, свою печаль на Господа. Отныне Он будет тебе дедушкой. Се аз отхожу света сего, Арсение. Лечи людей травами, тем и прокормишься. А лучше иди в монастырь, буди тамо свещою Господеви. Послушаешь меня?

Не умирай, дедушка. Не умирай... Арсений вдохнул и захлебнулся.

Так что же мне делать, крикнул из последних сил Христофор, если я умру, как только лягу?

Я тебя буду подпирать, дедушка.

Три дня и две ночи Христофор сидел на постели, спустив одну ногу на пол и протянув вторую вдоль лавки. Сидячее положение ему помогал сохранять Арсений. Своей спиной он подпирал спину деда и прижатым к деду сердцем выравнивал его сердцебиение. Восстанавливал участившееся дыхание. Мальчик отлучался всего несколько раз – выпить глоток воды и сходить по нужде. На третий день из монастыря приехал старец Никандр и велел Арсению выйти из избы. Просидел он с Христофором довольно долго. Уходя, посмотрел, как Арсений подпирал Христофора. Сказал:

Отпусти его, Арсение. Он ведь из-за тебя уйти не отваживается.

Но Арсений только крепче уперся спиной в спину деда.

Бодрствуй с ним до полуночи, сказал старец, а потом отпусти.

Около полуночи Арсению показалось, что Христофору стало легче. И что дышит он уже не так тяжело. Арсений видел улыбку деда, удивляясь, что может видеть ее спиной. С облегчением следил за тем, как дед прошелся по комнате и коснулся висящего в углу бессмертника. Все развешанные под потолком травы от этого закачались. Закачался и сам потолок. Погладив спящего мальчика по щеке, Христофор сказал Господу:

В руце Твои предаю дух мой, Ты же мя помилуй и живот вечный даруй ми.  
Аминь.

Перекрестился, лег рядом с внуком и закрыл глаза.

Проснулся Арсений рано утром. Посмотрел на лежащего рядом Христофора. Вдохнул весь доступный в избе воздух и закричал. Услышав крик в монастыре, старец Никандр сказал Арсению:

Не надо так громко кричать, ибо кончина его была мирной.

Услышав крик в слободке, люди отложили житейское попечение и двинулись в сторону Христофорова дома. Память о добрых делах Христофора хранили их излеченные тела.

И начался первый день без Христофора, и первую половину этого дня Арсений проплакал. Он смотрел на приходивших слободских, но слезы размывали их лица. Обессиленный горем, во второй половине дня Арсений заснул.

Когда он проснулся, была уже ночь. Он вспомнил, что Христофора больше нет, и снова заплакал. Христофор лежал на лавке, а в головах его стояла свеча. Другая свеча освещала Вечную Книгу, лежавшую прежде на полке. Свечу держал старец Никандр. Он стоял спиной к Христофору с Арсением и глухим голосом зачитывал Книгу иконам.

Вот, почитай, сказал не оборачиваясь старец, а я посплю немного. И будь другом, перестань уже, пожалуйста, реветь.

Арсений принял из рук старца свечу и встал перед Книгой. Краем глаза видел, как, слегка подвинув Христофора, старец устроился рядом с ним на лавке. Строки псалмов все еще плыли перед глазами, а голос не слушался. Арсений прочистил горло и начал читать. На аспиде и василиска наступиши и попереши льва и змия. Арсений читал и думал о том, что эти поступки, возможно, предназначались совершить Христофору. Арсений обернулся к старцу Никандру.

Кто сей василиск?

Но старец спал. Он лежал плечо в плечо с Христофором, и руки обоих были сложены на груди. Их носы тускло поблескивали в свете свечи. Оба были одинаково неподвижны, и оба как бы мертвы. Арсений, однако же, знал, что мертв из них был только Христофор. Временное омертвление Никандра было проявлением солидарности. Чтобы поддержать Христофора, он решил проделать с ним первые шаги в смерть. Потому что первые шаги – самые трудные.

Похороны Христофора состоялись на следующий день. Когда могилу забросали землей, старец Никандр сказал:

Проводивший дни жизни своей в доме у кладбища, дни своей смерти он будет проводить на кладбище у дома. Убежден, что подобная симметрия покойным только приветствуется.

Кладбище было тихим. Со времени последнего мора оно посещалось редко, потому что те, кто ходили туда прежде, теперь пребывали в местах иных. С переселением Христофора на кладбище покой его стал всеобъемлющ.

После похорон благодарные жители слободки звали Арсения переселиться к ним, но Арсений отказался.

Память о Христофоре, сказал он, должна храниться по месту его последнего жительства, которое он по мере сил обустроил. Здесь каждая стена, сказал, бережет тепло его взгляда и шершавость его прикосновения. Как же, спрашивается, я могу отсюда уйти?

Его не отговаривали. В известном смысле всем было легче оттого, что он остается в Христофоровом доме. Знакомое и привычное обиталище лекаря таким образом сохранялось. Продолжая выдавать необходимые снадобья из Христофорова дома, Арсений и сам в глазах людей незаметно становился Христофором. И даже путь, который слободским приходилось проделывать для получения лекарства, окупался твердым осознанием того, что все продолжает оставаться на своих местах.

Это осознание сразу упростило отношения между врачом и его пациентами. И мужчины, и женщины раздевались перед Арсением с той же легкостью, с какой прежде раздевались перед Христофором. Порой Арсению казалось, что женщины это делали даже легче, чем мужчины, и тогда он испытывал неловкость. Первое время касался их плоти кончиками пальцев, но уже вскоре – поскольку речь все-таки шла о больной плоти – без волнения клал на нее всю ладонь, а если требовалось, сжимал и мял.

Умение возлагать руку, облегчать возложением руки боль в какой-то мере определило первое прозвище Арсения – Рукинец. В сущности, это прозвище было для его краев типичным. Так чужие называли рукинских слобожан. Люди,



приходившие издалека, Рукинцем именовали и Христофора.

Для жителей слободки это прозвище не имело смысла, поскольку все они были рукинцами. Иначе сложилось с Арсением. Даже внутри самой слободки его стали определять как Рукинца. Это воспринималось как своего рода выдача почетного гражданства, как именование любимого им Александра – Македонцем. Когда же слава об удивительных руках Арсения дошла до земель, где о Рукиной слободке никогда не слышали (а таких было большинство), прозвище опять потеряло свой смысл. И тогда Арсения стали называть Врачом.

Пухлые детские ладони у подростка Арсения обрели благородные контуры. Пальцы вытянулись, чуть выступили суставы, а под кожей напряглись прежде невидимые жилы. Движения рук стали плавны, жесты – выразительны. Это были руки музыканта, которому достался в дар самый удивительный из инструментов – человеческое тело.

Прикасаясь к телу больного, руки Арсения теряли материальность, они словно струились. В них было что-то родниковое, остужающее. Приходившие к Арсению в его ранние годы затруднились бы сказать, целебны ли его прикосновения, но уже тогда были убеждены, что эти прикосновения приятны. Привыкшие к тому, что лечению обычно сопутствует боль, в глубине души эти люди, возможно, испытывали сомнения в полезности приятных врачебных действий. Это, однако, их не останавливало. Во-первых, Арсений лечил теми же средствами, какими прежде лечил Христофор, и откровенных неудач у него было не больше. Во-вторых (и это, вероятно, было главным), особого выбора у слободских попросту не было. В этих обстоятельствах приятное лечение можно было со спокойной совестью предпочесть неприятному.

Что касается Арсения, то встречи с людьми были для него также важны. Помимо мелких денег больные несли ему хлеб, мед, молоко, сыр, горох, сушеное мясо и многое другое, что позволяло не задумываться о еде. Но дело было не только и не столько в том, что они обеспечивали Арсению пропитание. Речь в первую очередь шла об общении, от которого Арсению становилось легче.

Получив необходимую помощь, больные не уходили. Они рассказывали Арсению о свадьбах, похоронах, постройках, пожарах, оброках и видах на урожай. О приезжавших в слободку и о путешествиях слободских. О Москве и Новгороде. О белозерских князьях. О китайском шелке. Они ловили себя на том, что прерывать беседу с Арсением им не хотелось.

Со смертью Христофора оказалось вдруг, что другого общения у Арсения, в сущности, не было. Христофор был его единственным родственником, собеседником и другом. В течение многих лет Христофор занимал собой всю его жизнь. Смерть Христофора превратила жизнь Арсения в пустоту. Жизнь вроде бы оставалась, но наполнения уже не имела. Став полой, жизнь настолько потеряла в весе, что Арсений не удивился бы, если порывом ветра ее унесло в заоблачные выси и, возможно, тем самым приблизило бы к Христофору. Иногда Арсению казалось, что именно этого он и хотел.

Единственным связующим звеном с жизнью были для Арсения приходившие люди. Их появлению Арсений, несомненно, радовался. Но радовали не посещения сами по себе и даже не возможность поговорить. Арсений знал, что больные в нем по-прежнему видят Христофора, так что их приход всякий раз был как бы продлением жизни деда. Закрывая возникшую пустоту, Арсений и сам понемногу начинал чувствовать себя Христофором, и это тождество молчаливо удостоверялось приходившими.

Несмотря на то, что это общение Арсений ценил, со своими посетителями он был немногословен. Так получалось, возможно, потому, что все его слова уходило на беседы с Христофором. Эти беседы занимали большую часть дня и проходили по-разному.

Поднявшись утром с постели, Арсений первым делом шел на кладбище. Понятно, что слово шел несет в себе преувеличение: чтобы попасть на кладбище, следовало лишь выйти за ограду дома. Это была общая для дома и кладбища ограда, в которой с незапамятных времен существовала калитка. Рядом с калиткой и был похоронен Христофор. Не желая посмертного удаления от дома, место упокоения он наметил еще при жизни – и теперь в этом не раскаивался. Он не только знал все происходившее в доме, но почти был в нем. Почти – потому что, помня об относительности смерти, Христофор отдавал себе отчет и в том, что живым и мертвым предназначено раздельное пребывание.

У холма из смерзшихся комьев земли слободским плотником была сколочена лавка. Каждое утро Арсений сидел на лавке и беседовал с лежавшим под холмом Христофором. Он рассказывал ему о посетителях и об их болезнях. О сказанных ему словах, настоянных им травах, толченых им корнях, движении облаков, направлении ветра – словом, обо всем, в чем Христофору ныне трудно было ориентироваться самостоятельно.

Самым тяжелым временем для Арсения был вечер. К отсутствию Христофора у печи привыкнуть не получалось. Мерцание огня на его бровастом и морщинистом лице казалось чем-то изначальным, древним, как сам огонь. Это мерцание было свойством огня, неотделимой принадлежностью печи, тем, что, по сути, не имело права на исчезновение.

То, что произошло с Христофором, не было отсутствием ушедшего в неизвестность. Это было отсутствие лежавшего рядом. В морозы Арсений набрасывал на холм кожух из овчины. Он, безусловно, знал, что в нынешнем своем состоянии Христофор к холоду нечувствителен, но при мысли о необогретом лежании деда жизнь в натопленном доме становилась невыносимой. Единственным, что спасало вечерами, было чтение Христофоровых грамот.

Соломон рече: лучше жити в земли пусте, неже жити с женою сварливою, и язычною, и гневливою; Филон сказал: справедливый человек не тот, кто не обидит, а тот, кто мог бы обидеть, но не захотел; Сократ увидел друга своего, спешащего к художникам, чтобы выбили на камне его изображение, и сказал ему: ты спешешь камень себе уподобить, почему же не заботишься о том, чтобы самому не уподобиться камню; царь Филипп приставил некоего судить с судьями, когда же стало ему известно, что тот краской красит волосы и бороду, он отстранил его от судейства, сказав: аще власом своим неверен еси, то како людем и суду верен можеша быти; Соломон рече: трие ми суть невозможни уразумети, и четвертаго не вем: следа орла, паряща по воздуху, и пути змия, ползуща по камени, и стези корабля, плывуща по морю, и путей мужа в юности его. Этого не понимал Соломон. Этого не понимал Христофор. Как показала жизнь, этого не понимал и Арсений.

В конце февраля запахло весной. Снег еще не таял, но приближение северной весны было очевидно. Крики птиц стали по-весеннему пронзительны, а воздух наполнился незимней мягкостью. Озарился светом, которого в этих краях не видели с конца осени.

Когда ты умирал, сказал Арсений Христофору, в природе было уже темно. А сейчас – опять светло, и я плачу о том, что ты этого не видишь. Если говорить о главном, то небеса поднялись и стали голубыми. Происходят еще кое-какие изменения, о которых я буду тебе сообщать по мере их развития. В сущности, некоторые вещи я могу описать уже сейчас.

Арсений хотел было продолжить, но что-то его остановило. Это был взгляд. Он чувствовал его, еще не видя. Взгляд не был тяжелым, скорее – голодным. В большой степени – несчастным. Он мерцал из-за дальних надгробных камней. Проследив за его направлением, Арсений увидел платок и рыжую прядь.

Кто ты, спросил Арсений.

Я Устина. Она поднялась с корточек и с минуту молча смотрела на Арсения. Я есть хочу.

От Устины веяло неблагополучием. Ее одежда была в грязи.

Заходи. Арсений показал ей на избу.

Не могу, ответила Устина. Я из тех мест, где мор. Вынеси мне чего-нибудь поесть и оставь. Ты уйдешь – я подберу.

Заходи, сказал Арсений. Иначе замерзнешь.

По щекам Устины прокатилось несколько крупных слезинок. Они были видны издали, и Арсений удивился их величине.

Вчера меня не пустили в слободку. Сказали, что я несу с собой мор. Разве ты не боишься мора?

Арсений пожал плечами.

У меня дедушка умер, я теперь мало чего боюсь. На все воля Божья.

Устина входила, не поднимая глаз. Когда сняла свой рваный тулуп, стало понятно, что делает это впервые за много дней. По избе распространился запах

немытого тела. Молодого женского тела. Несвежесть запаха только усиливала его молодость и женственность, заключала в себе предельное сосредоточение того и другого. Арсений почувствовал волнение.

Лицо и руки Устины были в ссадинах. Арсений знал, что от бесменного ношения одежды на теле также бывают язвы. Телу нужно было вернуть чистоту. Он поставил в печь большой глиняный горшок с водой. В то давнее время ничто не варилось на огне: варилось сбоку от огня. Так была задумана печь.

Устина сидела в углу, сложив руки на коленях. Рассматривала пол, где лежало присыпанное сажей сено. Ее одежда казалась продолжением этого сена – черная и свалывшаяся. И была не одеждой даже – чем-то, не для человека предназначенным.

Когда на поверхности воды начали собираться мелкие пузырьки, Арсений взял самый большой ухват и осторожно (кончик языка на губе) вытащил горшок из огня. Поставив в центре комнаты кадушку, налил в нее холодной воды. Затем горячей из горшка. Добавил щелока из травы Енох, смешанной с кленовым листом. Рядом поставил кувшин с прохладной водой для ополаскивания.

Измойся, аще хочеши.

Он вышел в соседнюю холодную комнату и закрыл за собой дверь. Устина шуршала своими тряпками. Арсений услышал, как она осторожно ступила в кадушку и черпаком коснулась ее стенки. Услышал шум воды. Шум в собственной голове. Прислонился спиной к заиндевевшей стене и почувствовал облегчение. Протяжно выдохнув, наблюдал, как медленно растворяется в воздухе пар.

Во что ми облещися, спросила из-за двери Устина.

Арсений задумался. В его с Христофором доме не было ничего женского. Одежду умершей Христофоровой жены донашивала мать Арсения, но после мора все это пришлось сжечь. Отвернувшись от Устины, Арсений вошел в комнату и открыл сундук. Часть лежавших сверху вещей отложил на откинутую крышку. Нашел то, что искал. Все так же, не глядя на Устину, протянул ей свою красную рубаху. Покраснел и сам. Как все светловолосые люди, он легко краснел.

Устина продела руки в рукава, и полотно мягко легло на ее плечи. Одежда, что ранее носил Арсений, теперь обнимала такое непохожее тело. В этом заключалось странное их соединение. Арсений не знал, чувствовалось ли оно обоими в равной степени.

Рубаха оказалась Устине длинна, и она закатала рукава. В открытом сундуке увидела кусок льняного полотна.

Можно?

Конечно.

Поверх рубахи она обернула полотно вокруг талии и бедер. Получилась понева. Обвязалась найденной в сундуке веревкой. Посмотрела на Арсения. Он кивнул и почувствовал, как нахлынувшая нежность отразилась в его взгляде. Он опустил глаза и снова покраснел. От сочувствия к худой рыжей девушке, надевшей его рубаху, к горлу Арсения подкатил ком. Он подумал, что так страстно не жалел еще никого.

Да, забыл. Если имеешь язвы на теле своем, покажи мне.

Устина отвела ворот рубахи и показала ему язву на шее. Поколебавшись, расстегнула пуговицу и показала еще одну язву в подмышке. Арсений вдохнул аромат ее кожи. Ранки были небольшими, но влажными. Арсений знал, что их нужно подсушить. Подойдя к полке со множеством завязанных тряпками горшочков, на минуту задумался. Нашел горшочек с пережженной ивовой корой. Высыпал немного на чистый лоскут и смочил уксусом. Поочередно приложил к язвам. Устина прикусила губу.

Потерпи, пожалуйста. Имеешь ли еще язвы?

Имею, но не могу показать.

Арсений протянул ей лоскут.

На, помажь сама, я не буду смотреть. Он отвернулся к печи.

У печи лежали лохмотья Устины, и их близость к огню решила дело. Не говоря ни слова, Арсений бросил их в печь. Это было естественное движение, и он его сделал. Но был в этом и знак бесповоротности. Как в какой-то сказке, слышанной им от Христофора. Глядя, как ветхую одежду охватывает пламя, Арсений подумал, что его рубаху Устина будет теперь носить постоянно. Еще подумал, что она в сущности его ровесница.

Он дал Устине хлеба с квасом и ощутил на руке прикосновение ее губ.

Пока есть только это, сказал Арсений, отдергивая руку.

Он хотел что-то еще добавить, но почувствовал, что голос его не слушается.

Горячей пищи в доме не было, потому что Арсений ничего не варил. В свое время Христофор научил его готовить простые блюда, но с уходом деда – так казалось Арсению – в этом больше не было смысла. Устина старалась есть не торопясь, но это ей плохо удавалось. Она отламывала от краюхи небольшие кусочки и медленно клала их в рот. Проглатывала же, почти не жуя. Арсений наблюдал за Устиной и чувствовал ее поцелуй на своей руке.

Из мешка он отсыпал цельного зерна овса, очищенного от шелухи. Залил водой и поставил распариваться в печи. На ужин он решил угостить Устину кашей.

В нашей деревне все умерли, сказала Устина, осталась только я. И страшусь часа смертного. А ты страшишься?

Арсений не ответил.

Устина вдруг запела неожиданно сильным высоким голосом:

Душа с белым телом распрощается,  
прости, мое тело белое (набрала воздуха),  
тебе, тело, идти во сырую землю,  
сырой земле на предание (на горле набухла вена),  
лютым червям на съедение.

Замолчав, Устина спокойно смотрела на него. Как будто и не пела. Не отводила глаз. Высыхающие, еще не заплетенные в косу волосы пушисто светились вокруг головы. Власи твои, яко стада коз, яже въздоша от Галаада. В те забытые времена волосы волновали больше, чем сейчас, потому что обычно были скрыты. Они были деталью почти интимной.

Глядя на Устину, Арсений не опускал глаз. Он удивлялся, что им нетрудно выдерживать взгляды друг друга. Что протянувшаяся между ними нить выше чувства неловкости. Любовался рыжим свечением. Тем, как на ключице поднималась и опускалась в такт дыханию льняная веревка креста. Это было единственным, что на Устине оставалось своего.

Вечером они ели кашу, которую Арсений заправил льняным маслом. Держа глиняные миски на коленях, сидели у очага. Последний раз он сидел так с Христофором. Арсений незаметно наблюдал за игрой света на ее волосах, соприродных пламени. Теперь они были заплетены в косу и выглядели совсем по-другому. Поднося деревянную (вырезал Христофор) ложку ко рту, Устина забавно вытягивала губы. Это было как поцелуй. Поцелуй Христофору. Арсений помнил, как вырезались эти ложки: тоже зимой, тоже у печи. Когда он в очередной раз посмотрел на Устину, та спала.

Он осторожно взял из ее рук миску и ложку. Устина не проснулась. Она продолжала сидеть ровно и тревожно, словно и во сне преодолевала какой-то нелегкий, одной ей ведомый путь. Арсений постелил Устине на лавке. Стараясь не разбудить, потихоньку поднял со стула и удивился ее легкости. Ее голова откинулась на руку Арсения. Чтобы поддержать голову, он выставил локоть. Сквозь прозрачную кожу Устины он видел вены на висках. Чувствовал аромат ее губ. Яко вервь червлена, устне твои. Прижался щекой к ее лбу. Потихоньку положил ее на лавку и укрыл кожухом.

Арсений сидел у изголовья и смотрел на Устину. Сначала сидел, сложив руки на груди, затем – упершись в подбородок ладонью. Иногда по лицу Устины проходила легкая судорога. Иногда она вскрикивала. Арсений проводил ей по лицу ладонью, и она успокаивалась.

Спи, спи, Устина, шептал Арсений.



И Устина спала. Холстина под ней сбилась в складки. Ее щека касалась дерева лавки. Арсений осторожно приподнял ее голову, чтобы расправить складки. Не просыпаясь, Устина взяла ладонь Арсения и подложила под щеку. Ему пришлось согнуться и поддерживать правую руку левой. Через несколько минут Арсений почувствовал боль в спине и в руках, но это было ему приятно. Ему казалось, что своим легким страданием он снимает часть груза с Устины. Он сам не заметил, как задремал.

Проснулся от щекочущего движения ресниц по его ладони. Устина лежала с открытыми глазами. В них мерцало отражение печных угольев. Ладонь Арсения была мокра от ее слез. Он коснулся губами век Устины и ощутил их солоноватость. Устина подвинулась, как бы освобождая ему место:

Мне стало страшно в темноте.

Он сел рядом с ней на краешек лавки, и она положила голову ему на колени.

Пребуди со мною, Арсение, до сна моего.

Сквозь одежду он чувствовал ее теплое дыхание, исходившее со словами.

Аз пребуду с тобою до сна твоего.

У меня кроме тебя никого нет. Я хочу крепко обнять тебя и не отпускать.

Я тоже хочу тебя обнять, потому что мне страшно одному.

Тогда ляг рядом.

Он лег. Они обнялись и лежали так долго. Он потерял счет времени. Он дрожал мелкой дрожью, хотя был весь в поту. И его пот смешался с ее потом. А затем его плоть вошла в ее плоть. Наутро же они увидели, что холстина стала алой.

У Арсения началась другая жизнь – полная любви и страха. Любви к Устине и страха, что она исчезнет так же внезапно, как пришла. Он не знал, чего именно боялся – урагана ли, молнии, пожара или недоброго взгляда. Может быть, всего вместе. Устина не отделялась от его любви к ней. Устина была любовью, а любовь – Устиной. Он нес ее, будто свечу в темном лесу. Он страшился того, что тысячи жадных ночных существ слетятся на это пламя и погасят его своими крыльями.

Он мог любоваться Устиной часами. Брал ее руку и, медленно поднимая рукав, ощущал губами едва заметные золотые волоски. Клад голову ей на колени и кончиком пальца водил по прозрачной линии между шеей и подбородком. Пробовал языком ее ресницы. Осторожно снимал с ее головы плат и распускал волосы. Заплетал их в косу. Снова расплетал и медленно вел по ним гребнем. Представлял, что волосы были озером, а гребень – ладьей. Скользя по золотому озеру, видел в этом гребне себя. Чувствовал, что тонет, и больше всего боялся спасения.

Устину он никому не показывал. Услышав стук в дверь, набрасывал на Устину Христофоров кожух и отправлял в смежную комнату. Бросал взгляд на лавки в поисках вещей, способных выдать Устину. Но таких вещей не было. В хозяйстве Христофора и Арсения вообще не было ничего женского. Убедившись, что дверь за Устиной плотно закрылась, он открывал дверь входную.

Устина беззвучно сидела в соседней комнате, а Арсений осматривал пациентов. Его приемы стали более краткими, и посетители это отметили. Арсений больше не поддерживал бесед. Не произнося лишних слов, он осматривал и ощупывал больную плоть. Сосредоточенно выслушивал жалобы и давал предписания. Принимал посильную плату. Когда все медицинские слова были сказаны, выжидающе смотрел на гостя. Связывая это с возросшей занятостью врача, пациенты относились к нему с еще большим уважением.

Об Устине никто не знал. Во дворе она почти не показывалась, а снаружи сквозь маленькие окна, затянутые бычьим пузырем, ничего не было видно. Строго говоря, сквозь них ничего не было видно и изнутри. Так что даже если бы кто-нибудь решил заглянуть в окно Арсения, он узнал бы немного. Но никто ведь и не заглядывал.

Однажды во время приема страдавшего мужским бессилием Устина за стеной чихнула. Негромко, но – чихнула, поскольку помещение было все-таки холодным.

Пациент вопросительно посмотрел на Арсения и спросил, что это за шум. Арсений ответил непонимающим взглядом. Предложил пришедшему не отвлекаться от его проблемы, иначе он никогда с ней не справится.

Никогда, подчеркнул Арсений и посоветовал есть побольше моркови.

Провожая гостя, хозяин ступал нарочито громко, но Устина больше не чихала. Когда она наконец вошла, Арсений попросил ее чихать во внутреннюю часть кожуха, потому что мех заглушает звуки.

Обычно я так и делала, сказала Устина. В этот же раз все произошло внезапно, и я просто не успела укрыться кожухом.

В общении Арсения с посетителями появилась некая рассеянность. Все заметнее становилось, что мыслями Арсений был в местах иных. Знай его посетители об Устине, они поместили бы эти мысли в соседней комнате. И были бы не вполне правы.

Арсений не просто думал об Устине. Мало-помалу он погружался в особый завершённый мир, из него и Устины состоявший. В этом мире он был отцом Устины и ее сыном. Был другом, братом, но главное – мужем. Все эти обязанности сиротство Устины оставляло свободными. И он в них вступил. Его собственное сиротство предполагало такие же обязанности для Устины. Круг замыкался: они становились друг для друга всем. Совершенство этого круга делало для Арсения невозможным чье-либо иное присутствие. Это были две половины целого, и любое прибавление казалось Арсению не просто избыточным – недопустимым. Даже минутное и ни к чему не обязывающее.

Совершенство союза виделось Арсению и в том, что их уединенность не тяготила Устину. Ему казалось, что причину и смысл такого хода жизни она видела с той же пронзительностью, что и он. А если даже и не видела, то просто-напросто бесконечно устала от скитаний и постоянное его присутствие воспринимала как незаслуженное счастье.

По вечерам они читали. Чтобы не вставать то и дело для смены лучин, использовали масляный светильник. Он горел тускло, но ровно. Читал Арсений, потому что Устина не владела грамотой.

Благодаря Арсению она впервые услышала о предсказании Антифонта Александру. Владыка всего мира, сказал Антифонт, умрет на железной земле под костяным небом. И когда Александр оказался в медной земле, его охватил страх. Этот страх мерцал из полумрака в глазах Устины. И повелел Александр своим воинам изучить состав земли. Они же, изучив состав земли, нашли в ней одну лишь медь без железа. Александр, имея душу крепче железа, приказал продолжать двигаться вперед. И они шли по медной земле, и стук лошадиных копыт по меди казался им громом...

Устина ласково касалась плеча Арсения:

Разумеешь ли, еже чтеши, или токмо листы обращаешь?

Прижавшись к нему покрепче, Устина обхватывала руками свои колени. Просила его читать не торопясь. Он кивал, но незаметно для себя опять начинал торопиться. Пять отведенных ими на вечер листов с каждым разом прочитывались все быстрее, и Устина вновь и вновь спрашивала Арсения, что заставляет его так спешить. Вместо ответа он прижимался щекой к ее щеке. Возникла ревнивая мысль, что в вечернее время Александр интересовал ее больше Арсения.

Иногда читали о Китоврасе. Чтобы скрыть свою жену от других, Китоврас носил ее в ухе. Арсений тоже хотел бы носить Устину в ухе, но у него не было такой возможности.

В конце марта Устина сказала:

Я понесла во чреве моем, ибо у меня прекратилось обычное женское.

Сказала, упершись ладонями в дерево лавки, чуть ссутулившись, глядя мимо Арсения. В то мгновение Арсений бросал в печь поленья. Он сделал шаг к Устине и встал перед ней, сидящей, на колени. Рука его все еще сжимала полено. Оно выпало и звонко прокатилось по полу. Арсений зарылся лицом в красную рубаху Устины. На своем затылке чувствовал ее руку – любящую и безвольную. Мягким

движением уложил Устину на лавку и медленно – складка за складкой – начал приподнимать ее рубаху. Обнажив живот, прижался к нему губами. Живот Устины был плоским, как долина, а кожа его была упругой. Живот ограничивала трепетная линия ребер. И ничто не предвещало изменений. Ничто не указывало на того, кто в нем уже готовился нарушить эти линии. Скользя губами по животу, Арсений осознавал, что лишь беременность Устины могла выразить его безмерную любовь, что это он прорастает сквозь Устину. Он почувствовал счастье оттого, что теперь присутствовал в Устине постоянно. Он был ее неотъемлемой частью.

Арсений понимал, что новое положение Устины делало ее еще более зависимой от него. Может быть, потому страх потерять ее стал чуть меньше, а нежность к ней, наоборот, ощущалась им с небывалой остротой. Арсений испытывал нежность, видя, с какой охотой Устина начала есть. Ее аппетит казался смешным ей самой. Она фыркала, и во все стороны летели хлебные крошки. Арсений испытывал нежность, когда лицо Устины серело и ее мутило. Он доставал мускатное масло и давал его Устине с ложки. Медленно тянул ложку к себе, следя, как скользят по ней губы Устины. А еще без устали любовался ее глазами, ставшими с беременностью совсем другими. В них появилось что-то влажное, незащитное. Напоминавшее Арсению глаза теленка.

Иногда в этих глазах сквозила грусть. Уединенное существование с Арсением было, безусловно, ее счастьем. Но было и чем-то другим, что становилось с каждым днем заметнее. Арсений, казавшийся ей всем миром, заменить целого мира все-таки не мог. Чувство оторванности от общей жизни рождало в Устине беспокойство. И Арсений это видел.

Однажды Устина спросила, нельзя ли ей купить женскую одежду. Все время своего пребывания у Арсения она ходила в том же, что носил он.

Тебе неприятно носить мою одежду, спросил Арсений.

Мне приятно, милый, очень приятно, просто я хотела бы носить и свою. Я ведь женщина...

Арсений обещал подумать. Он действительно думал, но в размышлениях своих ни к чему не пришел. Не открывая тайны Устины, женского платья он купить не мог. Довериться в этом деле ему было некому. О том, чтобы отправить Устину в

слободку одну, не могло быть и речи. Во-первых, слободским бы не составило труда узнать, откуда она пришла, а во-вторых... Арсений шумно выдыхал и чувствовал, как к горлу подкатывает ком. Он не мог себе представить, что Устина покинет его хотя бы на полдня.

По прошествии некоторого времени она напомнила Арсению о своей просьбе, но не получила ответа. Спустя еще несколько недель думать о покупке было уже поздно: найти подходящую одежду не позволял выросший живот Устины. И тогда она стала перешивать для себя вещи Арсения.

Гораздо больше одежды его беспокоило то, что они не ходили к причастию. Идти в храм Арсений боялся, потому что путь к Святым Дарам лежал через исповедь. А исповедь предполагала рассказ об Устине. Он не знал, что ему будет сказано в ответ. Венчаться? Он был бы счастлив венчаться. А если скажут – бросить? Или жить пока в разных местах? Он не знал, что могут сказать, потому что ничего подобного с ним еще не было.

Боясь послушаться, Арсений не ходил в храм и не исповедовался. И Устина не ходила.

Однажды она спросила:

Ты возьмешь меня в жены?

Ты – жена моя, которую люблю больше жизни.

Я хочу быть твоею, Арсение, перед Богом и людьми.

Потерпи, любовь моя. Он поцеловал ее в ямку над ключицей. Ты будешь моею перед Богом и людьми. Только потерпи немного, любовь моя.

Почти ежедневно они ходили в лес. Сначала это было совсем непросто, потому что там все еще лежал глубокий снег. Они шли, проваливаясь в снег по колена, но все-таки шли. Арсений знал, что Устине нужен свежий воздух. Кроме того, даже такая нелегкая прогулка была для нее лучше сидения дома. Обуваясь в сапоги Христофора, Устина часто стирала ступни. Многочисленные намотанные на ноги лоскуты положения не спасали. И хотя в те времена сапоги шили из

мягкой кожи, не учитывая различия правой и левой ног, размер все же имел значение. Ноги Устины очень отличались от ног Христофора.

Устина двигалась за Арсением след в след. Каждое утро они шли по одной и той же дорожке и каждое утро протапывали ее как в первый раз, потому что за сутки дорожку заметало. Даже если не было снегопада, протоптанный путь разравнивала поземка. На открытом пространстве между кладбищем и лесом всегда дул сильный ветер.

Когда они входили в лес, ветер стихал. И там они иногда находили свои следы. Эти следы были тоже припорошены, порой их пересекали другие следы – звериные или птичьи, – но они существовали. Не исчезали, думалось Арсению, бесследно.

В лесу было не так холодно, как на пути к нему. Может быть, даже тепло. Многодневный снежный покров на ветках казался Устине мехами. Она любила стряхивать его с веток и любовалась тем, как он лежал на ее и Арсения плечах.

Ты купишь мне такую шубу, спрашивала Устина.

Конечно, отвечал Арсений. Обязательно куплю.

Он очень хотел купить ей такую шубу.

В середине апреля снег начал таять и сразу же стал старым и облезлым. Пористым от начавшихся дождей. Такой шубы Устина уже не хотела. Внимательно глядя себе под ноги, она переступала с одной оттаявшей кочки на другую. Из-под снега полезла вся лесная неопрятность – прошлогодние листья, потерявшие цвет обрывки тряпок и потускневшие пластиковые бутылки. На открытых солнцу полянах уже пробивалась трава, но в глухих местах снег был еще глубок. И там было холодно. В конце концов растаял даже этот снег, но лужи от него стояли до середины лета.

В мае Устина сменила сапоги на лапти, сплетенные Арсением. Лапти Устине нравились, потому что сплетены они были по ее ноге и – главное – сплетены Арсением. Не позволяя ей наклоняться, он осторожно оборачивал завязки лаптей вокруг ее ног, и это ей тоже нравилось. Обувь была легкой, но пропускала воду. Иногда Устина приходила домой с мокрыми ногами, но вернуться к сапогам ни за

что не хотела.

Просто я буду аккуратнее ходить, говорила она Арсению.

Их прогулки стали гораздо длиннее. Теперь они ходили не только в ближний лес, но и в отдаленные от всякого жилья места, показанные когда-то Арсению Христофором. В этих местах Арсений чувствовал себя спокойнее. В ближнем лесу они, случалось, видели людей и, заметив их еще издали, спешили скрыться. Теперь же, уходя далеко, они не встречали никого.

Ты не боишься заблудиться, спрашивала у Арсения Устина.

Не боюсь, яко познах дебри сии от младых ногтей.

В эти прогулки Арсений брал мешок с едой и питьем. Там же лежала овечья шкура, на которой они сидели во время длительных привалов – Арсений следил за тем, чтобы Устина не переутомлялась. Гуляя, они собирали травы, которыми прорастала ожившая природа. Арсений описывал Устине свойства растений, и она удивлялась широте его знаний. Он рассказывал ей также о строении человеческого тела и повадках животных, о перемещении планет, исторических событиях и символике чисел. В такие минуты он чувствовал себя ее отцом. Или, если иметь в виду источник его знаний, – дедом. Рыжая девочка казалась Арсению глиной в его руках, из которой он лепил себе Жену.

Сказать, что о существовании Устины никто не знал, теперь было бы преувеличением. Пусть издали, но в лесу их обоих не раз видели. С Устиной, конечно, знакомы не были, но узнать Арсения могли без затруднений – даже издали. Посещая же Арсения в его доме, Устину слышали за стенкой, потому что быть бесшумным человек постоянно не может. Многие догадывались, что у Арсения кто-то живет, но раз уж он это скрывал, его ни о чем не спрашивали. Арсений был их врачом, а раздражать врачей боялись всегда. Со своей стороны, об этих подозрениях Арсений, видимо, тоже догадывался. Свои догадки он не пытался ни подтвердить, ни опровергнуть. Его устраивало, что его ни о чем не спрашивали – что бы за этим ни стояло. Арсению было достаточно того, что к его



миру никто не прикасался. Миру, где существовали только он и Устина.

В начале лета, когда от долгих прогулок Устина стала уставать, они все чаще сидели возле дома. После починки избы оставалось небольшое количество бревен и досок, и Арсений решил соорудить во дворе навес. Прилаживая доски одна к другой, он с болью вспоминал, как менее года назад подобной работой руководил Христофор. Голосом деда Арсений просил Устину подать ему тот или иной инструмент, но получалось это хуже, чем у Христофора. Доски прилаживались тоже хуже. Что сказал бы Христофор о его работе? И что сказал бы он об Устине?

Навес примыкал к тыльной стороне дома и с дороги виден не был. По протянутым Арсением веревкам через несколько недель он густо зарос вьюном. Крыша его была укрыта соломой и не протекала. Теперь находиться на воздухе можно было в любую погоду. Больше всего они любили сидеть под навесом вечерами.

В один из длинных июльских вечеров Устина попросила Арсения выучить ее грамоте. Такая просьба вначале его удивила. Все, что им требовалось читать, мог прочесть он, и это было частью их двуединства. Сорвав цветок вьюна, Арсений осторожно надел его на кончик носа Устины. Зачем тебе это, хотел спросить ее Арсений, но не спросил. Он вошел в дом и вернулся оттуда с Псалтирью. Сев рядом с Устиной, Арсений раскрыл книгу. Указательным пальцем коснулся первого же киноварного инициала. Буква рдела в лучах заходящего солнца.

Это буква Б. Здесь с нее начинается слово «Блажен».

Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, не спеша прочла Устина. И на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе.

Арсений молча посмотрел на Устину. Она положила голову ему на плечо.

Многие псалмы я знаю наизусть. Со слуха.

При изучении грамоты ей это очень пригодилось. Прочтя несколько букв, Устина вспоминала всю фразу, что помогало ей мгновенно узнавать следующие буквы. Арсений даже не ожидал, что учеба пойдет так быстро.

Больше всего Устине нравилось, что у букв есть имена. Она произносила их про себя, и губы ее постоянно шевелились. Аз. Буки. Веди. Обломав ветку, писала имена букв на утопанной земле двора и на лесных тропинках. Глаголь Добро. Имена давали буквам самостоятельную жизнь. Они давали им неожиданный смысл, который завораживал Устину. Како Людие Мыслете. Рцы Слово Твердо.

Наконец, буквы имели числовое значение.

Буква

под титлом обозначала единицу,

– двойку,

– тройку.

Почему после

идет

, удивилась Устина. Где же, спрашивается,

?

Обозначение чисел следует греческому алфавиту, а в нем этой буквы нет.

Ты знаешь греческий?

Нет (Арсений положил ладони на щеки Устины и потерся носом о ее нос), так говорил Христофор. Он тоже не знал греческого, но многие вещи чувствовал интуитивно.

Поражавшие Устину свойства букв подкреплялись не менее удивительными свойствами чисел. Арсений показывал ей, как числа складывались и вычитались, умножались и делились. Они обозначали вершину истории человечества: год

-й (5500-й) от Сотворения мира, когда родился Христос. Они же знаменовали завершение истории, явленное в страшном числе Антихриста:

(666). И все это выражалось буквами.

У чисел была своя гармония, отражавшая общую гармонию мира и всего в нем сущего. Множественные сведения такого рода Устина вычитывала из грамот Христофора, которые ей охапками приносил Арсений. Неделя имат семь дний и прообразует житие человеческое:

-й день рождение детища,

- й день юноша,

-й день совершен муж,

-й день средовечие,

-й день седина,

-й день старость,

-й день скончание.

Впрочем, Христофор увлекался не только символикой чисел. Среди его грамот Устина находила и указание расстояний. От Москвы до Киева верст полторы тысячи, от Москвы до Волги

верст, от Бела озера до Углича

верст. Зачем он все это выписывал, думала, читая, Устина. Христофор, мысленно отвечал ей Арсений, не был, конечно, ни в Москве, ни в Киеве, ни на Волге. Возможно, в этих данных его внимание привлекли 240 верст, которые встречаются дважды. Таким совпадениям (отвечал Арсений) покойный придавал особое значение, хотя и не вполне осознавал их смысл. Важно, что мы с тобой уже понимаем друг друга без слов.

Беременность Устины протекала непросто. Время от времени она жаловалась на головную боль и головокружение. В таких случаях Арсений растирал ей виски укропным маслом или отваром земляники. Возникали недомогания, которых Устина стеснялась, а потому молчала о них. Например, запоры. Заметив это, Арсений стыдил Устину и говорил, что теперь они одно целое и что она не может его стесняться. От запоров он давал ей настойку из молодых листьев бузины. Весной они вместе собирали эти листья и вместе варили их в меде.

У Устины нарушился сон. О том, что среди ночи она проснулась, Арсений догадывался, не слыша ее дыхания. Когда Устина спала, она дышала носом – шумно и равномерно. Чтобы восстановить ее сон, Арсений давал ей на ночь настой древесного мха.

Тело Устины очевидным образом испытывало на прочность ее дух. Устину постоянно мучила изжога. В утробе своей, там, где находился ребенок, она испытывала тяжесть и боль. Выросший живот немилосердно зудел от соприкосновения с холщовой рубахой Арсения. От носимого Устиной груза стопы отекали. Оплывшими казались черты лица. Глаза стали сонными. Во взгляде Устины появилась непривычная рассеянность. Эти перемены были заметны Арсению и волновали его. В потухших глазах Устины он видел начинающуюся усталость от беременности.

Новизна состояния помогала ей преодолевать недомогания в первые месяцы. Спустя время это состояние уже не было новым. Было привычным и обременительным. А еще пришла осень, и дни стали по-северному короткими. Окутавший Белозерье мрак наводил на Устину тоску. Она видела, что природа умирает, и ничего не могла с этим поделать. Глядя, как облетают с деревьев листья, Устина также роняла слезы.

Изменения в своем теле она наблюдала теперь как бы со стороны. В раздутом неповоротливом существе все труднее было видеть себя прежнюю – гибкую, быструю, сильную. Помещенную кем-то в чужое тело.

Так ведь не кем-то – Арсением. Дойдя до этой мысли, Устина словно бы достигала дна, отталкивалась от него и снова плыла к поверхности. И здесь открывалась всем радостям, которые окружали ее. И радости Устины были ярче ее страданий.

Она радовалась проснувшемуся в ней аппетиту, потому что знала, что ест уже не одна, но с ребенком. Радовалась молозиву, то и дело появлявшемуся на ее сосках. Предавалась безудержным фантазиям о будущем ребенке и делилась ими с Арсением:

Если родится дочь, она вырастет самой красивой в Рукиной слободке и выйдет замуж за князя.

Но в Рукиной слободке нет князей.

Знаешь, приедет по такому случаю. Если же родится сын – что, в общем, предпочтительнее, – он будет светловолосым и мудрым, как ты, Арсение.

Зачем же нам два светловолосых и мудрых?

Так мне хочется, милый, что в этом плохого? Думаю, что ничего ведь плохого нет.

Однажды Арсений медленно провел по животу Устины ладонью и сказал:

Это мальчик.

Слава Тебе, Господи, как я рада. Всему рада. Особенно мальчику.

Сидя на лавке, Устина обычно поглаживала живот. Временами чувствовала движения сидящего внутри. После слов Арсения она не сомневалась, что это мальчик. Иногда Арсений прикладывал к ее животу ухо.

Что он говорит, спрашивала Устина.

Просит тебя потерпеть еще немного. До начала декабря.

Ладно уж – раз просит. Ему и самому, я думаю, надоело там сидеть.

Ты даже представить себе не можешь, как надоело.

Чтобы развлечь мальчика, Устина пела:

Мати-Мати, Мать Божия,

Мария Пресвятая (Устина крестилась сама и крестила живот),

где ты, Мати, ночи ночевала?

Ночевала я в городе Салиме,

во Божией во церкви за престолом,

не много спалось, много виделось,

будто я Христа Сына породила,

во пелены его пеленала,

во шелковы поясы свивала.

Арсений думал о том, что ее пронзительный голос может быть слышен с дороги, но ничего не говорил. Пусть, думал, поет, ребенку как-никак веселее.

Шила одежду.

Плохая, говорила, примета – шить неродившемуся одежду.

Но все-таки шила. Материал брала из Христофоровых вещей.

Из выморочного имущества, говорила, шить тоже не приветствуется.

Кладя стежок за стежком, глубоко вздыхала, и весь ее огромный живот приходил в движение. Из-под ее рук выходили пеленки, кукольных размеров порты и рубашки.

Делала и кукол. Изготавливала их из тряпок и разрисовывала по-разному. Вязала кукол из соломы. Все соломенные были одинаковыми и все походили на Устину. Когда ей Арсений об этом сказал, она разрыдалась.

Спасибо (кивнула) за комплимент. Большое спасибо.

Арсений обнял ее:

Я же любя, дурочка ты такая, никто тебя, как я, не любит и не будет любить, наша любовь – особый случай.

Прижался щекой к ее волосам. Она осторожно от него освободилась и сказала:

Арсений, я хочу перед родами причаститься, мне страшно рожать без причастия.

Он положил ей ладонь на губы:

Причастишься, родив, любовь моя. Как ты сейчас в таком положении поедешь в церковь? А после родов, знаешь, мы всем откроемся, и покажем сына, и причастимся, и станет легче, потому что когда будет ребенок – и объяснять никому ничего не нужно, он все оправдает, это как жизнь с чистого листа, понимаешь?

Понимаю, ответила Устина. Мне страшно, Арсение.

Она часто плакала. Старалась, чтобы Арсений не видел, но он видел, потому что все эти месяцы они были неразлучны друг с другом и трудно ей было плакать втайне.

Читать Устине было все тяжелее. Внимание ее рассеивалось. Ей было тяжело сидеть и тяжело лежать. Лежать приходилось не на спине, а на боку. Теперь она все чаще просила Арсения почитать ей, и он, конечно же, читал.

И случилось Александру прийти в болотистые края. И заболел Александр, но не находилось в тех болотах даже места, чтобы лечь. С чужих ему небес пошел снег. Повелел же Александр воинам, сняв с себя доспехи, складывать их друг на друга. Так сложили они в топком месте для него постель. Он лежал на ней, изнемогая, а от снега его накрыли щитами. И понял вдруг Александр, что лежит на железной земле под костяным небом...

Перестань. Устина тяжело перевернулась на другой бок и теперь лежала спиной к Арсению. Сегодня у нас тоже выпал снег, зачем ты мне все это читаешь...

Я найду тебе что-нибудь другое, любовь моя.

Устина вновь повернулась к нему.

Найди мне повивальную бабку. Это то, что мне скоро понадобится.

Зачем тебе какая-то темная бабка, удивился Арсений. Ведь у тебя есть я.

Разве ты когда-нибудь принимал роды?

Нет, но Христофор мне об этом подробно рассказывал. А еще он мне все записал. Арсений порылся в корзине и достал оттуда грамоту. Вот.

Можно ли принимать роды по написанному, спросила Устина. И кроме всего прочего, знаешь, я не хочу, чтобы ты меня такой видел. Не хочу, Арсение.

Но разве мы не одно целое?

Конечно, одно. И все-таки – не хочу.

Арсений не спорил. Но никого и не искал.



27 ноября в час сумерек у Устины отошли воды. Она поняла это не сразу, только когда постель ее намокла. Пока она сидела над горшком, Арсений перестелил холстину. Его начала бить дрожь. Когда Устина снова легла, он зажег два имевшихся масляных светильника и одну лучину. Устина взяла его за руку и усадила рядом с собой. Не волнуйся, милый, все будет хорошо. Арсений прижался губами к ее лбу и заплакал. Он чувствовал страх, какого не чувствовал еще никогда в жизни. Устина гладила его по затылку. Через час у нее начались схватки. В полумраке ее лицо страшно блестело горошинами пота, и он не узнавал это лицо. За привычными чертами проступили какие-то иные. Они были некрасивыми, припухшими и трагическими. И прежней Устины уже не было. Она как бы ушла, а пришла другая. Или даже не пришла – это прежняя Устина продолжала уходить. Капля за каплей теряла свое совершенство, становясь все несовершеннее. Эмбриональнее как бы. От мысли, что она может уйти совсем, у Арсения оборвалось дыхание. Об этом он не думал никогда. Тяжесть этой мысли оказалась велика. Она потащила его вниз, и он сполз с лавки на пол. Будто издали услышал стук головы о дерево. Видел, как неловко Устина поднимается с лавки и наклоняется к нему. Он все видел. Он был в сознании, но не мог двинуться. Если бы он знал тяжесть этой мысли раньше, каким смехотворным показался бы ему страх рассказать об Устине в слободке. Арсений медленно сел: я побегу в слободку, за повитухой, я мигом. Теперь уже поздно (Устина все еще его гладила), теперь меня уже нельзя оставлять одну, справимся как-нибудь, меня только беспокоит... Я не хотела говорить, не была уверена... Арсений усадил Устину на лавку. Он покрывал ее руки поцелуями, а речь ее все еще расслаивалась на отдельные слова и не собиралась в его голове воедино. Он знал, что этот ужас охватил его не случайно. Устина коснулась живота: со вчерашнего дня я не слышу его... Мальчика. Он, по-моему, не шевелится. Арсений протянул ладонь к ее животу и осторожно провел сверху вниз. В низу живота ладонь замерла. Арсений не мигая смотрел на Устину. В ее утробе он больше не чувствовал жизни. Там больше не билось сердце, которое он слышал все эти месяцы. Дитя было мертво. Арсений помог ей лечь на бок и сказал: мальчик шевелится, рожай спокойно. Он сидел на краю лавки и держал Устину за руку. Раз за разом менял лучину. Подливал масла в светильники. Среди ночи Устина приподнялась: мальчик умер, так почему же ты молчишь, ты молчишь уже несколько часов. Я не молчу, (сказал ли?) Арсений откуда-то издалека. Как я могу молчать? Он метнулся к Христофоровым полкам и опрокинул ночной горшок. Обернулся, увидел, как горшок медленно закатывается под лавку. Как

же я могу молчать? Но и говорить тоже не могу. Арсений достал отвар из травы чернобыль. Выпей этого. Что это? Выпей. Он приподнял ее голову и приставил кружку к губам. Слышал громкие – на всю комнату – глотки. Это трава чернобыль. Она выгоняет... Что выгоняет? Устина поперхнулась, и отвар полился у нее из носа. Трава чернобыль выгоняет мертвый плод. Устина беззвучно заплакала. Арсений достал с полки коробок и высыпал его содержимое на уголья. По комнате распространился резкий неприятный запах. Что это, спросила Устина. Сера. Ее запах ускоряет роды. Через минуту Устину вырвало. Она давно уже ничего не ела, и ее рвало выпитым настоем.

Устина опять легла. И Арсений опять ее гладил. Она почувствовала возобновление схваток. Ее охватила боль. То, что она чувствовала, сначала было болью в животе, потом это распространилось на все тело. Ей казалось, что боль всех окрестных хуторов собралась в одной точке и вошла в ее тело. Потому что ее, Устины, грехи превышали собой грехи всей той округи, и за это надо же было когда-нибудь ответить. И Устина закричала. И этот крик был рычанием. Он испугал Арсения, и Арсений вцепился ей в запястье. Он испугал саму Устину, но она уже не могла не кричать. Продолжая лежать на боку, она отвела ногу, и Арсений стал ее ногу придерживать. Эта нога сгибалась и распрямлялась, она казалась отдельным злым существом, не желавшим иметь ничего общего с неподвижной Устиной. Арсений держал ногу двумя руками, но все равно не мог удержать. Устина резко повернулась, и в полоске упавшего света он увидел, как на внутренней стороне бедра блестит кал. Устина продолжала кричать. Арсений не мог понять, движется ли младенец. Чувствуя под пальцами волосы ее лона, он вспоминал другие прикосновения и молил Бога передать Устину боль ему, передать хотя бы половину боли. В минуты же своего просветления Устина благодарила Бога за то, что ей дано мучиться за себя и за Арсения, так велика была ее любовь к нему. Арсений скорее нащупал, чем увидел, как в лоне Устины показалась голова младенца. На ощупь голова была огромной, и Арсений в отчаянии подумал, что она не сможет выйти. Голова не выходила. Раз за разом появлялась было макушка, но потом вновь исчезала. Арсений попробовал подвести под нее пальцы, но пальцы не проходили. Ему даже показалось, что, пытаясь вытащить голову, он затолкнул ее еще глубже. Его бросило в жар. Жар был нестерпимым, и он, распрямившись, одним рывком сбросил с себя рубашку. Головы младенца по-прежнему не было видно. Крики Устины стали тише, но страшнее, потому что утратили силу не оттого, что ей стало легче. Устина впадала в забытие. Арсений видел, что она уходит, и стал кричать на нее, чтобы удержать. Он бил ее по щекам, но голова Устины безжизненно моталась из стороны в сторону. Арсений забросил ее ногу себе на плечо и правой рукой попытался войти в лono. Рука вроде бы не проходила, но пальцы ощутили

младенца. Темя. Шею. Плечи. Сомкнулись в месте, где шея переходит в голову. Двинулись к выходу. Раздался хруст. Арсений уже не думал о младенце. О том, что он, может быть, все-таки жив. Он думал только об Устине. Продолжал тянуть ребенка за голову, борясь с подступающей дурнотой. Увидел, как разорвались губы лона, и услышал страшный крик Устины. Младенец был в руках Арсения. Появившись на свет, он не закричал. Заранее приготовленным ножом Арсений перерезал пуповину. Шлепнул младенца. Он слышал, что так делают повитухи, чтобы вызвать первый вдох. Еще раз шлепнул. Младенец по-прежнему молчал. Арсений осторожно положил его на пеленку и склонился над Устиной. Схватки продолжались. Арсений знал, что это выходит послед. Вышедшую из Устины кровавую слизь он счистил в ночной горшок. Вся холстина была залита кровью, и он подумал, что крови больше, чем должно было быть при родах. Он не знал, сколько ее должно было быть. Он видел лишь, что кровотечение не останавливалось. Ему было страшно, потому что кровь текла из утробы, и он не мог ее унять. Он взял на пальцы мелко натертой киновари и вошел в лоно Устины так глубоко, как мог. От Христофора он слышал, что тертая киноварь останавливает кровь из раны. Но он не видел раны и не знал точного места кровотечения. И кровь не останавливалась. Она все больше и больше пропитывала собой постель. Устина лежала с закрытыми глазами, и Арсений чувствовал, как ее покидает жизнь. Устина, не уходи, крикнул Арсений с такой силой, что в монастыре его услышал старец Никандр. Старец стоял в своей келье на молитве. Боюсь, что кричать уже бесполезно, сказал старец (он смотрел, как сквозь открывшуюся дверь влетали первые в этом году снежинки, свечу задуло сквозняком, но луна как раз выбралась из рваных облаков и освещала дверной проем), а потому буду молиться о сохранении твоей жизни, Арсение. Ни о чем другом не буду молиться в ближайшие дни, сказал старец, запирая дверь. На минуту в избе установилась совершенная тишина, и среди тишины Устина открыла глаза: жаль, Арсение, что я ухожу в этом мраке и смраде. И за окном снова засвистел ветер. Устина, не уходи, крикнул Арсений, с твоей жизнью прекращается и моя жизнь. Но Устина его уже не слышала, потому что жизнь ее прекратилась. Она лежала на спине, и согнутая в колене ее нога была отведена в сторону. Рука свешивалась с лавки. Она сжимала угол холстины. Лицо ее было повернуто в сторону Арсения, и открытые глаза никуда не смотрели. Арсений лежал на полу рядом с лавкой Устины. Жизнь его продолжалась, хотя это было неочевидно. Арсений пролежал остаток ночи и следующий день. Иногда открывал глаза и видел странные сны. Устина и Христофор вели его, маленького, за руки через лес. Когда они приподнимали его над кочками, ему казалось, что он летит. Устина и Христофор смеялись, ибо его ощущения не были для них загадкой. Христофор то и дело наклонялся за травами и клал их в холщовый мешок. Устина ничего не собирала, она просто

замедляла шаг, наблюдая за действиями Христофора. На Устине была красная мужская рубашка, которую в надлежащее время она собиралась передать Арсению. Она так и сказала: эта рубашка будет твоей, только ты должен сменить имя. Не имея объективной возможности быть Устиной, нарекись Устином. Договорились? Арсений смотрел на Устину снизу вверх. Договорились. Серьезность Устины была ему смешна, но он не подал виду. Конечно, договорились. Сумка Христофора была уже полна. Он же продолжал собирать травы, и в такт его шагам они выпадали из сумки на тропинку. Вся тропинка, сколько хватало глаз, была устлана травами Христофора. А он все продолжал их собирать. В этой бессмысленной на первый взгляд деятельности были свои красота и размах. Своя щедрость, которая безразлична к тому, существует ли в ней нужда: она вызвана одним лишь расположением дающего. С наступлением утра Арсений заметил свет, но сделал все, чтобы не проснуться. Даже во сне он боялся обнаружить, что Устина умерла. Его охватил особый утренний ужас: наступление нового дня без Устины было для него невыносимо. Он снова напился сном до бесчувствия. Сон струился по жилам Арсения и стучал в его сердце. С каждой минутой он спал все крепче, потому что испытывал страх проснуться. Сон Арсения был так крепок, что душа его временами покидала тело и зависала под потолком. С этой небольшой, в сущности, высоты она созерцала лежащих Арсения и Устину, удивляясь отсутствию в доме любимой ею Устиной души. Увидев Смерть, душа Арсения сказала: не могу вынести твоей славы и вижу, что красота твоя не от мира сего. Тут душа Арсения рассмотрела душу Устины. Душа Устины была почти прозрачна и оттого незаметна. Неужели я тоже так выгляжу, подумала душа Арсения и хотела было прикоснуться к душе Устины. Но упреждающий жест Смерти остановил душу Арсения. Смерть уже держала душу Устины за руку и собиралась ее увести. Оставь ее здесь, заплакала душа Арсения, мы с ней срослись. Привыкай к разлуке, сказала Смерть, которая хотя и временна, но болезненна. Узнаем ли мы друг друга в вечности, спросила душа Арсения. Это во многом зависит от тебя, сказала Смерть: в ходе жизни души нередко черствеют, и тогда они мало кого узнают после смерти. Если же любовь твоя, Арсение, неложна и не сотрется с течением времени, то почему же, спрашивается, вам не узнать друг друга там, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Смерть потрепала душу Устины по щеке. Душа Устины была маленькой, почти детской. На ласковый жест она отвечала скорее из страха, чем из благодарности. Так отвечают дети тем, кто принимает их от родных на неопределенный срок, и жизнь (смерть) с кем будет, возможно, неплохой, но совершенно другой, лишенной прежнего уклада, привычных событий и оборотов речи. Уходя, они то и дело оглядываются, и в полных слез глазах родных видят свое испуганное отражение.

Арсений очнулся, когда стемнело. Его рука наткнулась на свисавшую руку Устины. Ее рука была холодной. Она не сгибалась. Уголья в печи давно остыли, но что-то едва заметно мерцало в лампадке под иконой Спасителя. Арсений поднес к лампадке свечу. Он держал ее осторожно, чтобы не погасить последний оставшийся в доме огонь. Свеча (не сразу) разгорелась и осветила комнату. Арсений огляделся. Он внимательно смотрел вокруг, замечая каждую мелочь. Разбросанные вещи. Разбитые горшочки со снадобьями. Он не упускал ни одной подробности, так как это все еще позволяло ему не смотреть на Устину. А потом он посмотрел на нее.

Устина лежала в той же позе, что вчера, но была совершенно другой. Нос ее заострился, белки открытых глаз впали. Лицо Устины было алебастровым, а кончики ушей – свинцово-красными. Арсений стоял над Устиной и боялся к ней прикоснуться. Он не испытывал отвращения, страх его был другой природы. В раскорячившемся перед ним теле не было ничего от Устины. Он протянул ладонь к ее полусогнутой ноге и осторожно коснулся. Провел пальцем по коже: оказалась холодной и шершавой. При жизни Устины такой она не была никогда. Попробовал распрямить Устинину ногу, но ничего не получилось, как не получилось закрыть Устине глаза. Нажать побоялся. То, чего он касался, было, возможно, очень хрупким. Прикрыл Устину покрывалом – все, кроме лица.

Арсений начал читать последование об усопших. Он просил Господа, чтобы Устина была избавлена от сети ловчи и от словесе мятежна, чтобы не убоялась от страха нощнаго и от стрелы, летящая во дни. Время от времени оборачивался и смотрел на ее лицо. Свой голос он слышал издалека. Иногда в нем звучали слезы. Голос глухо сообщал, что Господь заповедает ангелам сохранить Устину во всех путях ее. Арсений помнил, как Устина уходила, держа за руку Смерть, как очертания ее уменьшались, пока не превратились в точку. Тогда с ней была Смерть, не ангелы. Арсений оторвал глаза от листа.

Теперь ты должна быть в руках ангелов, робко обратился он к Устине. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою.

Он еще раз обернулся, и ему показалось, что лицо Устины дрогнуло. Он не поверил своим глазам. Приподняв свечу, подошел ближе. Тень от Устининового носа переместилась по лицу. Двигалась не только тень: вместе с тенью изменялось лицо Устины. Это изменение не выглядело естественным, оно не соответствовало живой мимике Устины, но было в этом и что-то, не свойственное мертвецу. Устина была если не совсем живой, то как бы не вполне и мертвой.

Арсений испугался, что может упустить замеченные им в Устине ростки жизни. Заморозить их, например. Только сейчас он ощутил, что за прошедшие сутки изба выстудилась. Он бросился к печи и разжег в ней огонь. От волнения руки Арсения тряслись. Ему вдруг пришло в голову, что все зависит от того, как скоро сейчас удастся развести огонь. Через несколько минут дрова уже потрескивали. Арсений все еще не оглядывался на Устину, давая ей время привести себя в порядок. Но Устина не вставала.

Чтобы не спугнуть ростки жизни в Устине, Арсений решил сделать вид, что он их не заметил. Он продолжил читать последование об усопших. За ним стал читать псалмы. Он читал их не торопясь и внятно произнося каждое слово. Дошел до конца Псалтири и задумался. Решил прочесть ее еще раз. Закончил под утро. Неожиданно для себя почувствовал голод и съел краюху хлеба.

Еда словно открыла ему ноздри, и он втянул воздух. Чувствовался запах гниения плоти. Арсений подумал, что запах исходит от младенца. И правда: признаки разложения маленького тела были очевидны. С рассветом Арсений перенес его поближе к окну.

Ты никогда не видел солнечных лучей, сказал он младенцу, и было бы несправедливо лишать тебя света хотя бы в столь малом количестве.

Втайне Арсений, конечно, надеялся, что в его беседу с сыном вмешается Устина. Но она не вмешивалась. И даже поза, в которой Устина лежала, внешне оставалась той же.

Он решил читать над Устиной Псалтирь в третий раз. На десятой кафизме Арсений уловил на лавке движение. Боковым зрением он продолжал следить за лавкой, но движение не повторилось. Дочитав Псалтирь до конца, Арсений пришел в недоумение. Он не знал, что еще можно читать над Устиной в том зыбком положении между жизнью и смертью, в котором она, судя по всему,

пребывала. Он вспомнил, что при жизни она любила слушать Александрию, и начал читать Александрию. Ее реакция на роман об Александре всегда была живой, и сейчас, по мнению Арсения, это могло сыграть свою положительную роль.

До утра следующего дня он читал над Устиной Александрию. После короткого размышления прочитал над ней Откровение Авраама, Сказание об Индийском царстве и рассказы о Соломоне и Китоврасе. Арсений нарочно выбирал вещи интересные и побуждающие к жизни. С приходом ночи он принялся читать те грамоты Христофора, в которых не содержалось бытовых инструкций и рецептов. На рассвете Арсений прочел последнюю грамоту: кроме воды не мощно измыти оскверненную ризу и кроме слез невозможно отмыти и очистити скверну и кал душевный.

Слезы у него вышли за предыдущие дни, и больше их не было. Не было голоса – последние грамоты он читал уже шепотом. Не было сил. Сидел на полу, привалясь к растопленной печи. Не заметил, как задремал. Его разбудил шорох у окна. Рядом с младенцем сидела крыса. Арсений пошевелил рукой, и она убежала. Он понял, что не должен спать, если хочет сохранить тело своего сына. Посмотрел на Устину. Черты ее лица оплыли.

Арсений с трудом встал и подошел к Устине. Когда приподнял покрывало, в нос ему ударил резкий запах. Живот Устины был огромен. Гораздо больше, чем в дни беременности.

Если ты действительно умерла, сказал Арсений Устине, я должен сохранить твоё тело. Я ожидал, что оно тебе понадобится в ближайшей перспективе, но раз это не так, приложим все усилия, чтобы сохранить его для грядущего всеобщего воскресения. Прежде всего, разумеется, прекратим топить печь, которая способствует разложению тканей. Здесь уже и так летают мухи, не характерные для месяца ноября, и их появление меня, честно говоря, удивляет. Особенно меня беспокоит наш с тобой сын, он выглядит очень плохо. В сущности, наша задача не так сложна, как это может показаться на первый взгляд. По словам деда моего, Христофора, в год от Сотворения мира 7000-й вполне возможен конец света. Если исходить из того, что на дворе год 6964-й, продержаться нашим телам осталось тридцать шесть лет. Согласись, что в сравнении с временем, истекшим от мироздания, это не так уж много. Сейчас наступают холода, и всех нас слегка подморозит. Затем, конечно, еще тридцать шесть раз наступит лето (оно бывает жарким даже в наших краях), но ко времени тепла мы

уже как-то закрепимся в своем новом положении, ибо первые месяцы – они не только трудные, но и решающие.

С этого дня Арсений перестал топить печь. Он также перестал есть, потому что есть ему больше не хотелось. Изредка пил воду из бадьи. Бадья стояла у двери, и по утрам он замечал, как вода в ней покрывалась тонкими пластинками льда. Как-то, когда он пил воду, ему показалось, что Устина шевельнулась. Он обернулся и увидел, что отведенная и приподнятая ее нога лежит теперь на лавке. Он подошел к Устине. То, что он видел, не было обманом зрения. Нога Устины действительно опустилась. Арсений взялся за ногу и обнаружил, что нога опять сгибается. Он взял Устинину свесившуюся руку и бережно положил на лавку. Арсений понял, что окоченение плоти прошло, но сердцу своему запрещал биться чаще. Всякую надежду убивал взгляд на живот Устины. Он раздулся еще больше и вытолкнул из лона то, что не успело выйти в день ее кончины.

Арсений больше ничего не читал. По состоянию Устины он видел, что теперь ей уже было не до чтения. Он и говорил с ней все меньше, потому что пока не мог сообщить ничего обнадеживающего.

Мне страшно за нашего мальчика, сказал он в один из дней, в его ноздрях я сегодня видел белых червей.

Сказал – и пожалел, ибо что же Устина могла здесь поделаться, ей самой было нелегко. Нос и губы ее распухли, а веки отекали. Белая Устинина кожа стала маслянисто-коричневой, местами полопалась и сочилась гноем. Под кожей с неестественной четкостью зеленели вены. И лишь слипшиеся волосы всё еще сохраняли свой рыжий цвет.

Обхватив колени руками, Арсений сидел под печью и неотрывно смотрел на Устину. Теперь он не вставал даже за водой. Иногда слышал, как стучали в дверь, и испытывал тихую радость, что успел запереть дверь до своего перехода в неподвижность. Он не отзывался на крики, не обращал внимания на шаги во дворе. Когда они прекращались, Арсений вновь погружался в успокоение. Чувство покоя охватывало его все глубже и полнее. И откуда-то из самых недр покоя, как робкий подснежный цветок, прорастала надежда на скорую встречу с Устиной.



Однажды он заметил движение у окна. Натянутый на раму бычий пузырь с треском разорвался, и показалась рука с ножом. За ней – лицо. Но рука тут же прикрыла нос, а само лицо исчезло. Арсений ощутил движение воздуха и услышал крики. Обращались к нему. Он вновь повернулся к Устине и перестал смотреть на окно. Через непродолжительное время раздались удары в дверь. Арсений видел, как она тряслась. Он чувствовал сожаление, что не успел умереть до этого стука.

Дверь подалась в своей верхней части и рухнула через высокий порог. Взломавшие ее не врывались. Они вообще не торопились входить, испытывая очевидный страх. Двух передних Арсений рассмотрел. Это были Никола Ткач и Демид Солома, слободские люди, не раз приходившие к нему лечиться. Они стояли на упавшей двери и тихо переговаривались между собой. Рты и носы прикрывали воротами армяков.

Когда Демид направился к Устине, Арсений сказал:

Не тронь.

Собравшись с силами, Арсений встал. Он хотел воспрепятствовать Демиду подходить к Устине, но Демид несильно толкнул его ладонью в грудь. Арсений упал и не двигался. Никола полил его водой из бадьи. Арсений открыл глаза.

Живой, сообщил Никола.

Взяв Арсения под руки, он приподнял его и прислонил к печи. Голова Арсения съехала на плечо, но глаза оставались открыты. Демид сказал, что обнаруженные тела требуется отвезти в скудельницу. Никола сказал, что для этого из слободки нужно пригнать телегу. За телегой они послали кого-то третьего, кто не произнес ни слова.

Скудельница была скорбным местом. Даже кладбище, у ограды которого жили Арсений и Христофор, казалось чем-то более отрадным. Скудельница, или божедомка, располагалась на холме в двух верстах от Христофорова дома. Там

лежали погибшие от мора, странники, удушенные, некрещенные младенцы и самоубийцы. Те, кого покрывала вода, и брань пожара, и убийцы убиша, и огонь попали. Внезапу восхищенные, попадаемые от молний, измершие мразом и всякою раною. Жизнь этих несчастных была разной, и не она их объединяла, потому что сходство их состояло в смерти. Это была смерть без покаяния.

Умерших такой смертью не отпевали и на общих кладбищах не хоронили. Их отвозили в скудельницу. Там тела опускали на дно глубокой ямы и закладывали сосновыми ветвями. Так покойники становились заложными. Они лежали в общей яме, томясь от своей неприкаянности. Их серые, запорошенные песком лица нет-нет да и выглядывали из-под ветвей. Особенно грустным зрелище было весной, когда таявший снег сдвигал ветви с их мест. Тогда заложные покойники представляли в самом неприглядном своем виде – лишенные глаз и носов, с руками и ногами, сползшими на соседние тела, – словно в обнимку друг с другом.

Но по безграничной милости Господа и Спаса нашего Иисуса Христа и их участь не была безнадежна. В четверг седьмой недели по Пасхе из Кирилло-Белозерского монастыря приезжал иерей и заложных покойников отпевал. Этот день назывался Семиком. Яму закапывали и вырывали новую. И новая стояла открытой до следующего Семика.

Впрочем, даже с отпеванием трудности для заложных покойников оканчивались не всегда. О них вспоминали в дни неурожаев. Для всех чтущих традицию не составляло тайны, что причиной бедствий чаще всего заложные покойники и становились. Существовало поверье, что те, чья жизнь оборвалась преждевременно, умирали не сразу. Мать сыра земля не принимала их и выталкивала из себя, заставляя искать себе применения на поверхности.

В своем инобытии эти мертвецы как бы доживали отнятое у них время, но делали это с большим уроном для окружающих. Ища выхода своей нерастроченной силе, они губили урожаи и устраивали летние засухи. Люди сведущие объясняли сушь тем, что покойники (в особенности умершие от перепоя) испытывали нечеловеческую жажду и высасывали влагу из земли.

В тяжелые времена уже захороненных заложных покойников порой выкапывали из земли и, несмотря на протесты духовенства, оттаскивали в дебри и болота. Случалось, конечно, что их оставляли на месте, но перед этим все-таки выкапывали и переворачивали лицом вниз. Разумеется, кому-то это могло

показаться полумерой, но даже ее считали меньшим злом, чем откровенное бездействие.

Положение живых было, если разобраться, тоже не из простых. Хороня не принесших покаяния, они вызывали гнев матери сырой земли, и та отвечала весенними заморозками. Не хороня, вызывали гнев самих покойников, и в летнюю пору те безжалостно губили урожай. В этой сложной ситуации Семик и был, в сущности, соломоновым решением. Не предавая умерших земле до конца весны, земледельцы без ущерба для себя проходили период заморозков. Совершив же отпевание и похороны в седьмую неделю по Пасхе, они могли надеяться, что мстительные покойники не уничтожат созревший урожай.

Среди этих покойников теперь должна была оказаться Устина. Ее, бесконечно любимую Арсением Устину, собирались бросить в скудельницу. Вместе с сыном, который так и не получил имени. Демид и Никола обернули руки ветошью, вынесли Устину из избы и положили на подкатившую телегу. Через минуту на вытянутых руках Никола вынес полуразложившегося младенца. Вслед за телегой медленно подтягивались слободские. Они не входили в дом и молча стояли на дороге.

Арсений, до тех пор безучастно сидевший на полу, встал, взял с печи нож и вышел на улицу. Он двигался медленно, но ровно, как будто не провел все эти часы в полубморке. В тишине стало слышно босое шлепанье по земле. Глаза его были сухи. Толпа, стоявшая у телеги, отпрянула, ибо почувствовала, что сила его как будто превышает человеческой.

Он положил руку на телегу:

Не троньте.

Он закричал:

Не троньте!

Стоявшая лошадь захрапела.

Он закричал:

Оставьте их мне и идите, откуда пришли. Это моя жена и мой сын, а ваши семьи в слободке, так отправляйтесь же к вашим семьям.

И пришедшие не посмели к нему приблизиться. Они видели мраморные пальцы на рукоятке ножа. Видели, как ветер шевелил пух на его щеках. Они боялись не ножа, они боялись его самого. И не узнавали.

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купить: [https://tellnovel.com/vodolazkin\\_evgeniy/lavr](https://tellnovel.com/vodolazkin_evgeniy/lavr)

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)